

**ТИМОФЕЙ
ШЕРУДИЛО**

ЛИЧНЫЕ
ИСТИНЫ

Тимофей Шерудило

Личные истины

«АСТ»

Шерудило Т.

Личные истины / Т. Шерудило — «АСТ»,

По словам С. Л. Франка: «прекрасное обозначение „психология” — учение о душе — было просто неза-конно похищено и использовано, как титул для совсем иной научной области; оно похищено так основательно, что, когда теперь размышляешь о природе души, о мире внутренней реальности человеческой жизни, как таковой, то занимаешься делом, которому суждено оставаться безымянным». Книга посвящена этому безымянному делу.

Предисловие

«Мы не знаем ничего верного о Боге и нравственности – и никогда не узнаем. Стоит ли из-за этого волноваться и отравлять себе и другим жизнь?» – рассуждают они.

Несомненно – не стоит тому, кто так думает, и лучшее, что он может сделать, это остаться в стороне от чуждых ему споров, ненужной ему философии и непонятной поэзии.

Лев Шестов

«Вы найдете мудрецов, – говорит Герцен, – считающих высшей истиной то, чего словами выразить нельзя, что, следовательно, до того лично, случайно, что утрачивается при обобщении словом». «Личная истина есть безумие», так отозвался бы он о заглавии этой книги. Наше время многие вопросы полагает разрешенными, а многие истины – очевидными, но очевидность истин есть только повод в них усомниться. И разрешенные вопросы стоят того, чтобы над ними задуматься. Истина в самом деле не обладает ни очевидностью, ни общеобязательностью, и к тому же зависит от личности, которая к ней стремится. Я предлагаю читателю книгу таких *личных истин*.

О чем эти «Личные истины»? По словам С. Л. Франка, «прекрасное обозначение „психология” – учение о душе – было просто незаконно похищено и использовано, как титул для совсем иной научной области; оно похищено так основательно, что, когда теперь размышляешь о природе души, о мире внутренней реальности человеческой жизни, как таковой, то занимаешься делом, которому суждено оставаться безымянным или для которого надо придумать какое-нибудь новое обозначение». Книга посвящена этому *безымянному делу*.

Одно лицо, знакомое с моими рукописями, заметило, что было бы гораздо лучше, если бы я писал правильной, последовательной прозой. Однако душевная жизнь отрывочна и видимых начал и концов не имеет, то же неизбежно для книги о душе. Чувство не обманывает, но в разные минуты об одном говорит разное. Его правда в совокупности разноречивых утверждений, ни одно из которых не ложно. Я думаю, самая слабая вещь писателя – в которой он высказался до конца. Афоризмы отдалают такую возможность, потому что они суть незаконченные высказывания о бесконечных вещах.

«Каждый пишет ту книгу, которую он хотел бы прочитать», другими словами, ту, которую он читает в свитке своей жизни. Два рода людей могут позволить себе рассказывать о своих страданиях и тайных надеждах: совершенные ничтожества – и поэты. Всё свое творчество, все свои картины, всю свою философию поэт может основывать только на камне собственной личности. Псалмопевец говорил: «Слезы мои были моим хлебом»; может ли так сказать о себе поэт? Едва ли. Мир вовсе не царство слёз, но весьма опрометчиво желать себе счастья. В русской литературе Пушкин – пример душевной упругости, противоположность Герцену, который сосредотачивался на одном, пока оно не прожигало его насквозь. Несомненно, писатель живет прошлым для будущего, он ничего не может забыть, если бы и хотел, но подражать должно именно Пушкину. Ни отчаиваться, ни хоронить самого себя невозможно. Твои дела безнадежны, а ты иди и посвистывай, то есть пиши. Всё равно, если ты чего-нибудь стоишь, то пишешь для будущего; если же нет, о чем волноваться? Один писатель, ныне покойный, два десятка лет в дневниках своих жаловался на близость смерти. Смею ли я его осуждать? Думается, смею, т. к. все суждения о смерти и об отношении к ней неизбежно принадлежат живым. С другой стороны, желающему испытать свою смелость следует попытаться сказать себе: «Я никому не нужен, мне ничего не удастся, моя жизнь пройдет бесследно». Не получается? То же.

Наше время отказывается от ряда вопросов, объявляя их бессмысленными, но не будем забывать, что силой, заставляющей отказываться от вопросов, часто является страх перед возможными ответами. Эпоха права только в своем обращении к безусловным побуждениям, хотя

и не там их разыскивает. Господствовавший до сих пор взгляд на душевную жизнь ходит на грани лжи, потому что предпочитает ссылкам на безусловные побуждения ссылки на безусловные запреты, запрет же нельзя никогда удовлетворительно и до конца обосновать. На вопрос: «Почему я не должен?» обычно даются неубедительные ответы, которые только внушают человеку мысль, что воспитатели обращаются к его трусости, следовательно, непослушание есть доблесть как проявление мужества. Здесь-то и находит свою почву новая религия инстинктов, следовать которым будто бы «мужественно» и «естественно».

Каждой эпохе дается разумения ровно столько, сколько она способна вместить, поэтому нет смысла жаловаться на ограниченность критиков и слепоту вождей. Будь им дано и большее, они не сумели бы хорошо его употребить. Еще прежде духовной пищи люди и общество нуждаются в способности ее усваивать. Недостаток духовного возраста не порок: детство и юность обаятельны; «всё прекрасно, на чем ездит молодость и чем правит безумие». Неприятны только *совершеннолетние недоросли*, которыми так богата эпоха падения культуры. Культуру я бы определил как способность противостояния лжи или устойчивость к духовным ядам. Ее можно высмеивать, но крайняя ее противоположность – состояние того, кто верит всегда последнему из услышанного, для кого всякое «последнее слово» – отравка.

Я не раз слышал, что размышление не приличествует современности. «Писать книги, значит соперничать с Паскалем, Сартром, Достоевским и другими, которые, возможно, всё уже высказали», говорилось мне. Иные советуют: «Напишите прежде такую книгу, которая всем понравится, а потом вы сможете писать всё, что захотите!» «Всё это совершенно лично, и потому никак не годится для печати!», добавляют третьи... Мысль о том, что единственная обязанность писателя перед обществом – писать хорошо, для них безумие. Но как крепко и хорошо устроились эти люди!

Что мне сказать им? «Выслушайте внимательно речь мою, и это будет мне утешением от вас. Потерпите меня, и я буду говорить; а после того, как поговорю, насмехайся». Так говорил Иов.

I. Доброе и злое

Молодость – добродетель; невинность – достоинство; стыдливость – доблесть. Стыд солгавшего я ставлю выше бесстрастной правдивости, потому что стыд обладает свойством *толкать дальше*. Нравственное состояние стыдящегося вызывает меньше опасений, чем бесстыдная добродетель... Даже соблазнитель всегда ищет непорочности, чтобы ее соблазнить, тем признавая, что только существование невинности придает им цену. Нравственная порча теряет ценность, если не является состоянием исключительным и преследуемым. Однако нельзя больше считать невозможным и то состояние, когда *несоблазненных* больше не останется. Что тогда будет делать бесстыдство? Вероятно, от скуки начнет стыдиться.

Нежелание следовать общераспространенным порокам и добродетелям вызывает неприязнь толпы. Праведник – то лицо, которое не делит с толпой «ни хохота, ни рева»; то же лицо при других обстоятельствах называется грешником. Следование совести – обыкновенно вызов обществу, но даже и *не быть совершенным*, а только *другим*, – в глазах большинства преступно. И как примирить с этим воспитание детей, задача которого как раз научить ребенка быть другим, т. е. собой (потому что «я» – всегда «другой» по отношению ко всему, что «не я»).

Доброта как нравственное качество есть сила без жестокости. Где нет силы, нельзя говорить и о доброте; она проявляется только в действии; бессильный не действует. Противопоставление силы и доброты бессмысленно, потому что подразумевает непременно *злую силу*. Историческая судьба добра вовсе не поражение. Только оно и обладает свойством накопи-

ваться в поколениях, а вот у зла нет прошлого, оно всегда *вполне современно*. Можно сказать, что зло человек находит готовым, а добро нет.

Распутство стремится к проповеди и обращениям едва ли не больше, чем добродетель. Распутнику всегда одиноко и *не по себе*, пока рядом с ним есть чистота. Он успокаивается только когда все сравниваются с ним и исчезает хотя бы тень сравнительной оценки. Вообще говоря, всякое большинство знает, что *отказывающийся*, уединенный всегда нравственно выше, и потому так его преследует. Отказываться трудно, а потому и нравственно, по той же причине нравственен подвиг как преодоленная трудность. Естественная человеческая склонность не отказываться, но соглашаться. Однако отказ сам по себе не высшая нравственная ценность, но только мера нравственной годности.

К нравственным суждениям, а больше осуждениям, наиболее склонна не святость, а нравственная середина, посредственность. Вполне нравственных людей, как и совестливых грешников (из которых, впрочем, и вербуются нравственные люди, потому что о нравственности можно говорить только применительно к тому, кто знал искушения; дети, скажем, *чисты, но не нравственны*), мало; большинство составляется людьми умеренных пороков. Зато это умеренное большинство сурово судит.

Угрожаемое зло, в отличие от добра, предпочитает обороняться до последнего. Добро может сдать, хотя бы потому что не верит в возможность своего *конечного* поражения; а вот злу, кажется, кое-что о такой возможности известно, и защищается оно отчаянно. Во все времена выступления против добра оканчивались большим успехом.

Зло испытывает постоянную потребность в самозащите, то и дело переходящей в нападение. Собственно, этим оно и определяется. *Потребность в самозащите, переходящей в открытое нападение*, – первый признак зла вообще. Добро беззащитно, обороняется нехотя и не нападает первым. Метафизик сказал бы, что злом движет воля к прижизненной победе, питаемая уверенностью в том, что будущей жизни у него не будет; добро же, – сказал бы такой метафизик, – верит в жизнь вечную и не боится прижизненных, то есть временных, испытаний.

Неугасимое желание низости – *одерживать верх*, именно потому, что она низость. Высота беззащитна, ей не нужна победа, а вот низость и недостаток мужества всегда ищут торжества. Трудность нравственного выбора как раз в том, чтобы предпочесть высоту без победы – победе без силы. Чистоте и достоинству принадлежит будущее и всегда только будущее; настоящее всегда царство силы, здесь смысл слов о мире, который лежит во зле.

Я осмеливаюсь утверждать связь чистоты речи и чистоты души. Трудно, по меньшей мере, сказать: «Этот чистый душой сквернослов» – или, напротив: «Этот внутренне испорченный поэт»; хотя здесь возможны исключения. Способность выразить себя предохраняет от порчи; быть *сильным в добре*, то есть не знать предела в благих душевных движениях, очень полезно; развращает только *безразличная* сила, отсутствие препятствий на пути к любым целям независимо от их достоинства. Не просто хорошо, но необходимо знать себя сильным в добре.

Есть связь между *чувством правды* и *чувством красоты*, в силу которой высокое прекрасно, а прекрасное высоко. Эстетика неотделима от нравственности. Часто думают, что нравственность привременна и зависит от места, то есть не может быть чему-то мерой, но нравственность и не является мерой красоты. Я утверждаю только, что уровни красоты и нравственности понижаются и повышаются одновременно; перемена в одном означает перемену в

другом. С другой стороны, в отношениях с совестью ценятся не ее точные указания, но готовность им следовать.

Здесь важен вопрос: может ли совесть вдохновляться безобразным; возможна ли нравственность, основанная на уродстве? Его легко отвести, указав, что и прекрасное, и нравственное, и дурное, и безобразное не могут быть определены иначе как через человека... но я подозреваю, и этим подозрением питается религия со дня своего возникновения, что если не нравственное, то *прекрасное* в своем существовании от человека не зависит. От общественных или половых отношений можно пытаться произвести совесть, но не красоту. Она вопиюще бесполезна обществу или полу, хотя для чувства красоты и бывает благоприятна праздность, свойственная богатству, или чуткость, которую дает любовь.

Только мелкая душа может быть дурной без вреда для себя. Человека одаренного зло непременно приводит к неудаче в делах или внутренней неустроенности. Со злодейством совместим только гений низшего порядка, какая-нибудь необыкновенная *умственная способность*, развившаяся помимо души. С другой стороны, настоящее зло добровольно. Быть злым значит обладать ценностью, но ложно ее направить; противоположностью злу является не добро, а правда.

Пошлость враждебна чистоте в гораздо большей степени, чем чистота – пошлости. Нападающая сторона обычно та, что испытывает больший страх. Душевная чистота, скорее, закрывает глаза на пошлость, тогда как глаза пошлости всегда широко открыты для красоты; она не упустит случая для насмешек. Недостатки самоутверждаются за счет презираемых ими достоинств.

«Тому, кто пришел не вовремя, не следует жаловаться на то, что его не встречали. Поэт, всякий человек творчества, – всегда несвоевременный гость; в благоприятные времена ему радуются, в дурные времена его гонят. Мы живем в дурные времена. Стоит ли из-за этого огорчаться?» Так мог бы утешать себя поэт. Есть ли в таком утешении правда? Всё-таки мы рождаемся с готовностью и стремлением к радости и красоте, и когда в своей жизни их не обретаем, то испытываем горечь, который в жизни на самом-то деле, может быть, и нет: в ней есть только отсутствие радости, а это не то же самое. Истинные ценности можно определить как предметы наиболее долгоживущих стремлений. В конце концов, жажда богатства и власти быстро утоляется; она, следовательно, направлена к второстепенным ценностям. То, к чему мы стремимся по-настоящему долго и иногда безуспешно, – действительная ценность. Иначе говоря, ценность есть то, о чем можно мечтать. Только очень несложные люди мечтают о власти и силе...

Бесспорно, определение ценности как предмета наибольшего вожделения уязвимо: поскольку здесь нет общего согласия, постольку приходится признать либо отсутствие, либо *множественность ценностей*; признавая множественность ценностей, приходится принять и подчиненность одних ценностей другим, отношения высших и низших. Если же в самом деле существуют высшие и низшие ценности, как и соответствующие им стремления, то решения, основанные на равенстве мнений и числе голосов, – эти решения в большой чести в наше время, – эти решения немногого стоят. Что толку складывать и делить голоса, если они имеют неравный вес?..

Определение ценности как предмета стремлений можно выразить и иначе: «то или иное ценно, потому что я этого хочу». Не слишком ли непрочна эта основа? В таком случае ценности всецело отдаются на волю человечества; а если однажды человечество, всем своим составом, устремится к дурному?.. Не переменятся ли тогда «вечные ценности»? Полагаю, отдавать ценности на волю человечества не страшно. Для своего проявления они в самом деле нужда-

ются в душевной жизни; для света нужно иметь око, для истины – душу. Угашение высшей душевной жизни упрощает и признаваемые обществом истины, пока они не доходят до самых первоначальных: до истин добывания пищи и охоты на слабого... Человечество хочет дурного тогда, когда глаза его души закрыты. Зло побеждает в темноте.

Наслаждения делятся на низшие и высшие не потому, что одни из них «безнравственны», а другие нет. Наслаждения духа – наслаждения роста и развития; низшие наслаждения имеют *истребляющий* характер по отношению к тому, кто их испытывает. Конечная точка низших наслаждений есть *самоуничтожение*; завершение наслаждений духа, если его можно вообразить, было бы *трезвостью и полнотой бытия*, бытием во всей его возможной мере. Можно сказать больше: дух в человеке есть то, что ищет жизни. Высшие цели духа не самоубийственны. Грешник приближается к смерти настолько, насколько пренебрегает духом, то есть ищет *истребляющих благ*. Стремлениями к этим истребляющим благам отмечены иные эпохи в жизни человечества.

«Хорошим» называется человек, которого поступки несложны для понимания. Обладание определенным талантом весьма трудно совместить с именем «хорошего человека», и чем больше этот талант, тем больше будет сомнений у оценивающих и истолковывающих. Внутренняя сложность личности препятствует, видите ли, легкому пониманию ее душевных движений. Чтобы быть «хорошим», нужна достаточная внутренняя несложность, даже неискушенность. Всякое новое знание о человеке, вроде того, каким нас обогащают Пушкин или Достоевский, или причиняет вред душе познающего, или тяжело для нее, но во всяком случае лишает ее невинности и права называться «хорошей».

Зверообразного человека делает отвратительным не звериное, но духовное в нем. Он противен не как зверь, но как искаженный и опошленный дух. Зверь духа не имеет и потому мил. *Низшее в человеке происходит не от скота, но от духа*. Дух руководит человеком во всем, в восхождении и в падении равно. Не дурно «быть, как звери» – греха тут нет, – дурно только забвение человеческого долга. Неправильно говорят о «животных наклонностях»: пороки суть заблуждения дурно направленного духа; они *целестремленны, как всё духовное*, а главное отличие животного как раз в том, что оно не знает целестремленности.

Святой укоряет себя за всё, ребенок – ни за что. Обычная нравственность находится между ними, но по-настоящему в нравственной области хороши только крайности. Средняя нравственность, с ее способностью к бесконечному растяжению и вечным нарушением заповеди: «да не последуешь за большинством на злое» так же неприятна, как горделивая «праведность», которую часто смешивают со святостью, ее противоположностью: вместо того, чтобы укорять *себя*, «праведник» укоряет *других*. Вообще нравственный уровень человека определяется его неумением чувствовать себя жертвой и делать жертвами других. Человек высоких душевных качеств страдает больше других, но при этом не чувствует себя самым несчастным, и притом, насколько это возможно, не делает несчастными окружающих. Дети видят признак мужественности в умении «не жаловаться»; нравственность также есть умение страдать – и не жаловаться, ходить во тьме – и светить другим.

У нас нет выбора, кроме как быть духовными существами. Иначе – ужас, животная тоска без животных радостей, черный бессмысленный омут... Высшие способности требуют от владельца религиозности или сумасшествия; нельзя быть «просто человеком», вернее, «просто человеком», идеалом среднего состояния человеческого, можно быть только при средних же и способностях. Где способности выше обыкновенных, там нет возможности внутреннего равно-

весия на такой шаткой опоре, как «здравый смысл» или «естественные влечения». Там человек узнаёт безумие «смысла» и бесцельность «влечений», хотя и не становится оттого святым, но продолжает, с еще большим жаром продолжает мыслить и увлекаться.

Парадоксалист бы сказал: «Есть мужество – следовательно, есть Бог и вечная жизнь, потому что иначе в стойкости перед угрозой нет смысла: зачем отодвигать и без того неизбежную смерть? Мужество делается понятным только при вере в том, что дела и поступки не бессмысленны, т. е. имеют и будут иметь последствия; что жизнь важна *вся*, не только в ее достижениях или ее венце; что борьба имеет целью не простое самосохранение, но улучшение личности, ценное и в последующей жизни». Говорить так, однако, значило бы «толковать смысл в понятиях жизни», как предлагал Лев Шестов, т. е. искать смысла в вещах, а не в нашем мнении о них, а это с некоторых пор считается большим грехом в философском мире... То дивное ощущение *смысла во всем*, которого не стыдился еще Гегель, стало считаться постыдным.

Нравственность добровольная и принуждаемая сильно разнятся в цене. Однако человек весьма часто бывает слишком высоко развит для того, чтобы быть нравственным по принуждению, и недостаточно – чтобы быть нравственным добровольно. Здесь область свободы и наибольших мучений; пути назад, в мир принудительной нравственности и добровольных пороков, из нее нет. О человеке, находящемся здесь, восклицал ап. Павел: «чего желаю, того не делаю; что делаю, того не желаю; о, кто избавит меня от тела смерти сего?!»

Неправда наказывается, но и правде негде приклонить голову. Будь лжецом, и тебя накажет Бог; будь пророком, то есть слугой правды, и тебя накажет мир. Только равноудаленная от правды и лжи середина может быть безмятежна, но тот, кто выбирает *служение*, выбирает и наказание: служа одному, он понесет наказание от другого. Следует сказать: чем больше правды вмещается в данную жизнь, тем менее она безмятежна. Пророков побивают камнями; поэтов теснят со всех сторон; но кто больше достоин жалости – они или те, кого не били камнями и никогда не притесняли?

Неверными объяснениями причин поступков уничтожаются сами поступки. Объяснение высших душевных явлений через низшие побуждения прекращает сами эти явления. Кто будет благороден, если благородство – только хорошо скрытая гордость? Кто будет щедр, если щедрость – только покров стяжательства? Проще уж быть *откровенно* гордыми и себялюбивыми... Ложные объяснения человеческой природы опасны тем, что со временем развращают объясняемого. Его поведение искажается настолько, что наконец начинает соответствовать своему объяснению; вообще поведение человека и общества чаще всего соответствует господствующему мировоззрению, то есть способу объяснения вещей. Иначе говоря, объяснения человека и общества получают в определенных обстоятельствах принуждающую силу; я бы сказал – чем они проще, тем больше; так что следует быть весьма осторожным, предлагая новое всеобъемлющее решение загадки человека. Несложно растлить общество, предложив ему ложный взгляд на себя.

В области духа, кроме добра и зла, есть еще область *пустоты*; сама по себе она не добро и не зло, но только почва для праздности и растреления. Праздный дух ищет себе заполнения и выбирает доступнейшее; так засеиваются обширные пустоши праздных душ, и выросшие плевелы впоследствии объявляются «культурой масс» и «новым словом в истории духа»... Что дурного в невинных сорняках, в простых желаниях «есть, пить и веселиться»? В них плохо то, что эти невинные сорняки вырастают до неба, заслоняют небо и дают тем, кто в них заблудился,

повод утверждать, будто никакого неба и нет. Радоваться не безнравственно, но после некоторого предела каждая новая *радость для себя* означает *огорчение для других*, т. е. радость делается-таки безнравственной; и есть еще следующий предел, за которым поиски радости начинают вредить ищущей радости душе, и если до сих пор чужая боль была для нее неслышна, теперь она познакомится с болью сама. Поиск радости иссушает источник радостей, одновременно поощряя жажду. Крайняя точка на этом пути – бесконечно жаждущий у иссохшего русла.

На духовный рост можно смотреть как на расширение области действия стыда. Детям и дикарям почти нечего стыдиться; чем выше внутреннее развитие, тем больше поводов для стыда оно дает человеку. Если общество отвергает стыд, оно стоит на пути к первобытному состоянию, каковы бы ни были его технические успехи. Однако отказаться от стыда вполне не может ни одно общество: в качестве скреп ему необходимы хотя бы некоторые *служебные добродетели*, без которых государство становится притоном разбойников... К счастью, стыд дольше сохраняет свое значение для личности, чем для общества, поэтому даже весьма растленные общества могут продолжать существование, опираясь на презируемые ими чувства одиночек. Бесстыдство как господствующая идея даже предполагает, что кроме избранных бесстыдников останутся массы, приверженные устаревшим добродетелям.

«Зло» – не слишком сильное слово; не мера нетерпимости судящего. Отказ от определенных суждений в области добра и зла только вначале выглядит примиряющим. Благодушная терпимость рано или поздно переходит в прямое потворство злу. Бесспорно, только добро обладает созидательной и оплодотворяющей силой; только добром держится всякое людское дело, желающее быть долговечным; но добро действует исподволь и постепенно, т. к. не ищет власти и не себялюбиво; зло же – и об этом сторонники «терпимости» забывают – нуждается в *немедленном успехе*, в силе и власти *здесь и сейчас*. Чтобы быть нравственным – скажу иначе (современность боится этого слова): чтобы не увидеть растления своих детей, нужна известная доля нетерпимости к дурному, по меньшей мере упрямства.

Человек, потерявший свою душу или идущий к ее потере, опасен тем, что *для него в этом мире уже нет благ*, ни в чем он не находит удовлетворения и нуждается только во всё более и более острых раздражителях, которые ему заменяют утраченные ощущения радости и полноты бытия. Потеря души есть именно состояние потери благ и ценностей, когда ничто уже не радует, не тревожит и не манит; жажда без утоления. В этом состоянии рождается новый, совершенно особый взгляд на страдание, который современность и внушает человеку. Его учат с любопытством смотреть на чужую боль и в то же время ожидать себе всяческих удовольствий, даже больше: его учат тому, что «удовольствие» – всегда мое, а «страдание» – всегда чужое. Это совсем не «простой», совсем не «естественный» взгляд. Его единственное достоинство, если так можно сказать, только в том, что он противоположен христианскому взгляду; он, в сущности, есть то, что христианин безошибочно и сразу назовет *дьявольским взглядом на вещи*. «Удовольствие – мне, страдание – другим». К этому человека хотят приучить, причем дальше всего по сему пути продвинулись в тех частях света, которые до сих пор говорят о своей приверженности свободе; однако свобода эта, как кажется, есть *свобода без совести*, то есть – такова арифметика нравственности – *чистое зло*. Есть в этой области и совсем другой образец: Христа, для Которого не было чужих ран. Развить в себе всемирную, всечеловеческую отзывчивость, при которой раны человечества становятся личными ранами, значит предельно приблизиться ко Христу. Достоевский обладал этой отзывчивостью, потому и указывал на нее как на отличительную черту русского человека... Но такая отзывчивость приносит душе много горя. Боль и здесь, как и везде, является платой за высшие способности.

Розанов, как и многие другие критики христианства, не представлял, что случится, когда устранятся из мира христианские ценности – *ценности самоограничения*. Хорошо и безопасно проповедовать богатство жизни и полноту желаний, словом, всяческие «по ту сторону добра и зла», живя в обществе, подавляющем и облагораживающем низменные влечения – или, избегая нравственной оценки, – все *себялюбивые влечения*, не имеющие в себе правды, любви или красоты. Обитая в таком благоустроенном обществе, можно видеть, если хочется, во Христе «гасителя полноты жизни»... Но нам, жертвам революции, потерявшим это устроенное общество, виден стержень, тайная основа христианских ценностей: *самоограничение*, без которого все безразлично стремления считаются достойными, все равно заслуживают удовлетворения. Дело не в том, что «радоваться нельзя», а в том, что радость не самодовлеющая ценность, на пути к которой можно пренебречь всем. Либо разумное самоограничение, либо «все потребности должны быть удовлетворены». Отвергая самоограничение, мы устраняем из общества всякий принудительный авторитет и всё отдаем во власть личности. В этом и состоит «прогресс в области человеческого», как его понимает современность. То, что подается обычно как просвещение, «борьба науки с верой», есть на самом деле борьба против мышления, основанного на *неизменных мыслях о неизменных вещах*. Важным делом почему-то считается искоренение незыблемых ценностей и повсеместное насаждение собственного мнения, при том, что в 9 случаях из 10 у человека даже и оснований нет для выработки этих «собственных мнений». Я остаюсь в убеждении, что это движение всемирной лести *личному мнению* если не вызвано соображениями удобства управления человеческой душой, то привело, в конечном счете, именно к гораздо большей податливости масс. Чем больше человеческое самомнение, тем легче этим человеком управлять. Труднее всего навязать неестественные для него поступки совестливому скромнику, и не составляет труда управлять гордецом. Недавняя революционная эпоха весьма возвысила человеческое самомнение, подорвав при этом человеческую способность судить.

Полнота земной жизни, в той скудной степени, в какой она нам доступна, не дает душе удовлетворения. Двигаться дальше в эту сторону бессмысленно: впереди ничего нет. И даже там, где эта полнота земной жизни присутствует, она не означает воплощения высших ценностей, чего совершенно не чувствовал – опять я ввязываюсь с ним в спор – Розанов, живший так, как будто Христос и не приходил, как какой-нибудь ассириец или древний еврей. *Полнота жизни не признак божественного ее одобрения*. Лев Толстой всю жизнь метался в поисках «добра», но это было только слово, за которым скрывалось совсем не то нравственное содержание, какое в него обычно вкладывают. «Добро» это было, как отмечал Лев Шестов, на самом деле спокойствием, возможностью укрыться от ужаса и несовершенства жизни. Добро мало общего имеет с этой целью Толстого. «Как мне жить так, чтобы не испытывать постоянно угрызавшего чувства напрасности жизни», это совсем не то же, что «как мне вести себя, чтобы быть нравственным». Нравственный человек заботится о достижении определенных целей; здесь же речь шла не о том, чтобы достичь целей, а о том, чтобы их найти...

Как бы мы ни пытались избавиться от морали, как бы мы ни хотели ее утопить, она всё равно выныривает в конце, в качестве последствия наших действий. В морали видят какое-то личное оскорбление, но ее значение совсем не в «вот что я думаю о тебе», но в «вот к чему приводят твои поступки». Мораль есть учение о последствиях наших дел. Потому-то моралистов и побивают камнями. Потом, конечно, плачут, но зато сохраняют самоуважение и не оскверняют свою душу раскаянием. «Я не могу, – говорит современный человек, – позволить себе стыдиться, потому что стыд сделает меня менее сильным, и к тому же зависимым от тех, кто научил меня стыдиться». И чтобы не сомневаться в себе, такой человек гонит прочь совесть и

тех, кто о ней говорит. И вера в Бога исчезает одновременно со способностью сомневаться в себе... и на знамени человечества пишутся два слова: *сила и гордость*.

В мире присутствует тонкий, трудно уловимый, но наблюдаемый нравственный порядок. По меньшей мере можно сказать, что правда и красота более долговечны, чем безобразие и ложь, и если не обеспечивают своим сторонникам немедленной и постоянной защиты космических сил, то несомненно влияют на жизнь деятелей и долговечие их поступков. Только то долговечно, что основано на правде. Обратное доказать невозможно. Ложь наказывается быстро, так быстро, что уже дети наблюдают, как рушится дело отцов. Весь вопрос в том, как мы понимаем этот нравственный миропорядок. Материалист мог бы сказать, что устройство человеческого ума предопределено от начала веков, что он может мыслить *только так*, как он мыслит – в общем, в плане мироздания предопределено всё, и наши ценности также. Такое возражение вполне возможно, однако материалист, который его выскажет, будет плохим материалистом. Сказать, что нравственный закон соприроден вселенной и впечатан в нее с самого начала времен – значит оказать дурную услугу материализму с его твердым неприятием каких бы то ни было невещественных ценностей; такого материалиста закидали бы камнями... хотя нечто подобное, надо признать, уже говорится – на что только не идут, чтобы обойти ужасный, неприятный вопрос о Боге и высших ценностях.

Стоики хотели быть философами *во всём*, а это невозможно. Никакие основополагающие ценности – добро и зло, например, – не могут быть добыты путем рассуждений. Чисто философским путем можно получить только ценности *относительные*. Стоицизм не мог осветить сумерек старого мира, потому что обо всём хотел рассуждать и мало чему верил, а на путь непосредственного наблюдения за душевной жизнью, столь плодотворный для христианства, стать не сумел. Душа же и ее ценности таковы, что их можно наблюдать, при достаточном внимании, но не выводить путем умозаключений. Потому-то христианство просияло, а стоицизм остался при своих рассуждениях о том, имеет ли Божество шарообразную форму и что нам делать в том печальном случае, если ничего из того, во что мы верим, не существует... Перечтите Марка Аврелия: какая грусть! Никакого внимания к душе, никакого внутреннего света, свойственного равно Платону или христианину, только гордый и безмерно печальный разум со своими рассуждениями о более или менее вероятных вещах и, надо заметить, полным, совершенным *неверием в человека*, которое в делах религиозных обычно свидетельствует и об отсутствии доверия к Божеству. Христианство обернуло человека *вовнутрь* и тем самым обрушило старый мир, величие которого держалось на невероятных, баснословных *тщеславии и самомнении*, которым только исполинские размеры придавали вид благородства. Стоицизм был не в силах прекратить эту погоню за силой и славой: самое большее, он мог добиваться почестей, чувствуя внутреннее презрение к ним... Только христианство вернуло человека *домой*.

Если прежде говорили «добро и истина», то в понимании современной эпохи истина совершенно отделилась от добра. Добро терпимо только в области пожеланий, даже не как этическая категория, а как совокупность благ и удобств. Готовы признать, ищут только *внеморальную истину*, которая бы ни к чему не обязывала и ничего не значила для сердца, и более того – верят в то, что только внеморальной истина и бывает. Выхода из нынешнего положения два. Либо нам следует расстаться с добром, как оно проявляет себя в повседневной жизни, и ограничиться одними удобствами и прибытками, ведь на «внеморальных истинах» никакое добро основываться не может – либо отстранить эти безразличные, если не прямо опасные «истины», так ценимые эпохой, обратиться внутрь себя и искать иных истин, на которых могло бы основываться наше существование именно в качестве *человеческой жизни*, а не потребления и производства благ... Всем сторонникам первого пути я скажу, что они готовят холодный,

очень холодный мир, в котором человеческая жизнь, любовь и надежда недорого будут стоить, в котором человек большую часть жизни будет чувствовать себя уже мертвым, и от ледяного чувства смерти сможет защищаться только всё новыми чувственными удовольствиями, доходя до самых безобразных. Вы создадите, вы создаете уже сейчас великую пустоту в душах, которую нельзя будет заполнить никакими бреднями о «могуществе человека» и «покорении природы». Коллективное «всемогущество» человечества мало будет значить для пустой скорлупки не наполненной ничем личности, которую создаст – и уже создает – переворот, уничтожающий великие человеческие ценности. Всё станет «ни для чего» на свете. Опустошенный мир будет жаждать *смерти или смысла жизни*, смерти или веры – к этому вопросу всё сведется, когда и последние удовольствия будут испытаны, и последнее удовлетворение будет получено...

Любопытство к демоническому в европейском искусстве не ново. Еще Байрон и наш Лермонтов наряжались в черный плащ... Но это был демонизм пресыщенных одиночек, тогда как мы наблюдаем, едва ли не впервые в истории, демонизм масс. Демоническое начало в наше время ощущается явственно и повсюду, в культуре для масс – в особенности. Воспитывается личность холодная и сосредоточенная на себе самой, избегающая боли и склонная при случае причинять боль другим – то есть, в сущности, *обыкновенный демон*, как ни странно это звучит; демон в христианском понимании этого слова. Среди качеств призываемого *нового человека* я забыл упомянуть постоянный, неутолимый интерес к жестокости, насилию, убийству и всяческим мучениям – конечно, когда речь идет *о других*¹. Воспитывается *неутолимая жажда ужасного*, которая, однако, прикрывается именем «интереса к жизни, как она есть, без прикрас». Народ, де, нельзя оставлять в неведении, надо говорить ему правду – и сообщают народу избирательно, по крупницам собранные сведения, сосредотачивающие внимание на одном только страшном, отвратительном, безобразном. Тысячи глоток и перьев, повинувшись могучей руке, заманивают массы в трясину «действительной жизни», в которой нет ни света, ни радости. Я не могу найти другого слова, кроме слова «дьявольский», для замысла загнать людей в мир ужасов и темных удовольствий, и желал бы ему неуспеха... Но дело зашло слишком далеко. Европейское человечество никогда не было так безоружно против дьявола и тьмы, как теперь, когда оно вполне утратило представление о Боге и свете. Кто же теперь верит в Бога? Но отворачиваясь от Бога, человек поворачивается к дьяволу, и это *совершенно независимо от того, что он об этом думает*.

Стоит еще сказать, что демонизм прошлых веков был демонизмом действия. Демократия, с ее понижением способностей и расширением возможностей, вырабатывает демонизм потребления. Вообще поощряются *бездеятельные страсти и бездумные познания*, т. е. такие, которые не требуют никаких усилий от личности, ничем не заставляют пожертвовать, даже просто не требуют напряжения сил... Если интеллектуальная верхушка современного общества отвергает христианство сознательно, как ненужное для себя бремя ответственности, то пасомые массы принимают отсутствие нравственных ценностей, духовную пустоту за данность. Атеизм владеет массами по причине их безразличия, а не сознательного выбора. Выбор сделан меньшинством, умственной элитой, которая открыто поставила *гордость и силу* выше смирения и ответственности...

Зло и заблуждение деятельно участвуют в человеческой истории. Нет никакой границы, предела, положенного заблуждениям, вопреки общепринятой вере в «прогресс» и «разум». «Эпоха разума» означает: «заблуждений больше не будет». Некогда к этому прибавляли: «и зло потеряет силу». Ведь были уверены, что зло – от нежелания подчиниться разуму. Теперь так не говорят, п. ч. знают, что разум не защищает от зла, напротив, охотно служит ему... Но в прекращение заблуждений, в непогрешимость ума всё еще верят. Истина, однако, в том, что зло и заблуждение не уйдут из истории никогда, и необходимость различения зла и лжи не

упразднится тоже. Довольно детски думать, что начиная с определенного возраста человек становится непогрешимым в суждениях. Однако европейское человечество верит в непогрешимость своих суждений: самоуверенность подростка! Никогда, я говорю: *никогда* зло и заблуждения не уйдут из истории, и всегда на личности будет ответственность различения добра и зла, как бы хорошо и разумно ни было обосновано это зло. Даже иначе следует сказать: нет, не было и не будет ничего такого, перед чем можно было бы преклониться, как перед истиной, только потому что таково мнение римского епископа, святой и соборной Церкви, «мировой науки» или самого «разума». Никакая наука, никакой «прогресс» никогда не освободят человека и целые эпохи от способности избирать ложные пути и злостно заблуждаться.

Откуда уходит свет, там тотчас же, без всяких усилий с нашей стороны, наступает темнота. Зло расширяется насколько возможно, заполняя пустые места, оставленные добром. Нет ничего «безразличного». Либо свет на страже, либо на его месте тьма. Последовательное изгнание из культуры *света* и замена его исключительно прикладными ценностями приводит к постепенному затемнению общества, к страшным сумеркам. Даже злостные подделки высших ценностей, надо заметить, обладают защитной силой. Важно не направление, в котором они уводят дух, но напряжение, какое они ему сообщают. Даже заблуждения ума и сердца лучше их сытого бездействия. В душе, наполненной мыслью и страстью, злу труднее найти себе место.

Греховно, в сущности, всякое мечтание, всякая мысль, не желающая перетечь в дело. Непостыдно сдвинуться с места и потечь, преодолевать и усиливаться, даже столкнуться с препятствием и разбиться и откатиться назад... Всё это полнокровно, живо и *не грешно*. Грех есть неспособность желать. Когда мыслишь, желаешь и делаешь – нет греха. Он появляется вместе с нерешительной мыслью, нежеланием сталкиваться с действительностью и ее трудами и наградами... Мечтатель предельно близок к грешнику, а грешник – искаженное подобие деятеля. Мечтатель хочет, но не желает; грешник желает, но не действует; скорее повинуется месту и обстоятельствам. «Лукавый попутал», говорят о грехе. В грехе не человек действует, а что-то иное действует через его слабую волю. Грех есть нежелание быть собой, неполнота, слабость личности, попытка наполнить жизнь не действием, но ожиданием приятного, словом, всё, что удаляет душу от насыщенной деятельностью жизни, от *полного бытия*. Святые без греха именно потому, что их бытие – самое полное из всех возможных, и между душевными движениями и действительностью у них зазора нет. Мы жаждем внутренней цельности, причем неважно, какой ценой; цельности святого или цельности зверя – всё что угодно, только не промежуточное, разрывающее, болезненное существование посередине между духом и его отсутствием, между небом и землей.

Одним словом, грех есть слабость и нежелание быть. Любить и добиваться, желать и стремиться, мыслить и открыто говорить – всё сие добро зело, кроме *недостигающих цели желаний*. Быть вполне – вот добродетель, у детей, у язычников или у святых. Сомневаться, «делать, что не хочу, а хотеть, чего не делаю» – удел грешников.

Не те поступки морально хороши, за которые нам дадут награду, а те, которые делают нас лучше. Нравственность, таким образом, неопределима логически, то есть не нравственность даже, а *добро*: оно непроизводно и ни через что постороннее определено быть не может. Попытки обосновать нравственность через «разумный эгоизм», «счастье большинства» или даже «неделание глупостей» (что мне кажется совсем уж глупым) провалились, и получилось, что в сегодняшнем мире она не обоснована *ничем*. Собственно говоря, у человека более нет оснований быть хорошим. От него, однако, требуют уважения к государственной власти, семье, обществу и собственности, и это единственные основания нравственности, какие у него остались. «Делай, что хочешь, но только плати налоги!», так можно выразить эту служебную нрав-

ственность. Недостаток этой морали в том, что она имеет исключительно *сдерживающую* силу, и то в узко ограниченной области; она кое-что запрещает, но ничего не поощряет, да и запрещает она только *явные*, т. е. общественно наказуемые поступки. В сущности, эта мораль *охраняет общество, но не душу*, тогда как настоящая мораль печется прежде всего о душе.

– Что же делать с искушениями, если уж их нельзя обойти?

– Честно сказать себе: «Вот мое искушение», и меру своей ценности видеть в том, насколько успешно мы ему противостояем.

– Так от искушений не следует бежать?

– Думаю, это бесполезно. Они всё равно нас настигнут, так что лучше честно выступить им навстречу.

– Не означает ли это того же «всё дозволено», но только с другого конца?

– Не думаю. «Всё позволено» само стремится к соблазнам, я же говорю не о том, что к ним надо стремиться, а о том, что от них бесполезно убегать. Впрочем, грань здесь опасна и близка: для кого-то и проповедь смелой встречи с соблазном – уже соблазн.

– И чего же нам держаться?

– Наверное, нужно учиться спрашивать свою душу: это хорошо? это прекрасно? это чисто? И что душе не нужно, того избегать. Больше ничего.

– Так ответить хуже, чем не сказать ничего. Если мы тебе поверим, вместо одного вопроса: «как поступать?» нам придется задать себе много новых: «что хорошо? что прекрасно? что чисто?», уже не говоря о главном: «что такое душа и как ее спрашивать?» Ты просто над нами смеешься! Мы ищем или *одного* ответа, или права думать, что ответа нет. А ты учишь нас задавать вопросы!!

Христианские ценности – последние ценности, которые могут быть у души в неблагоприятном для нее мире. Я даже думаю, что никакого «нового слова», никакого прибавления в области ценностей быть уже не может. «Где сокровище ваше, там и сердце ваше». Либо мы находим наши ценности *снаружи*, либо *внутри*. Ценности побед и одолений, честолюбия и гордости – как их понимал древний мир и как понимает их современный Запад (в самой заметной и громкоголосой своей части) – все они внешние. Думаю, вне этого противостояния внешнего и внутреннего – ничего нет, разве только отсутствие ценностей вообще. Либо мы делаем нечто для себя и своей души, либо для некоторых внешних идолов, будь то слава, одобрение, могущество или сила. Здесь главное разделение. От того, какую сторону мы выберем, зависит наше представление о морали и истине. В одном случае мы признаём независимость истины и первичность нравственности; во втором – полагаем нравственным то, что ведет к успеху, и истинным – то, что дает наибольшую мощь. Мы обладаем совестью до тех пор, и только до тех пор, пока последствия поступков для нас важнее самих поступков; точно так же искреннее стремление к истине возможно только до тех пор, пока мы полагаем, что истина предшествует нашим поискам, а не творится нашим умом из ничего. В области духа нет «прогресса», но только возможность выбора и готовность следовать своему выбору до конца.

Как странно непонимание нашим временем той простой истины, что возможны, как устойчивое состояние, либо человек духа и совести, либо свинья. Переходная ступень между ними, выведением которой так гордится эпоха – только нежизнеспособная помесь, которая не сохранится в потомстве. Хорошее в этом человеке существует *еще*, а дурное (и очень дурное) – *уже*, да и было от начала. Мир спасается от общего скотства только постепенностью перемен. Череда всё менее нравственно пригодных поколений воспитывается день за днем, и мы не видим непосредственного перехода от благовоспитанного, но уже нравственно потерянного Ивана Федоровича Карамазова к Смердякову только потому, что этот переход растянут на

десятки лет. Смысл эпохи весь выражен Достоевским. Где «Бога нет» – там «всё дозволено», где всё дозволено – там скот на месте человека. Чем вас надо бить, как наказывать, чтобы вы поняли великую силу ограничения во всём, кроме жажды лучшего?

Что безгрешно в области между душой и телом? То, что делается *всем сердцем*; во что вкладывается вся страсть, а не тепловатое возбуждение, искусственно возгреваемое до сходства со страстью... Там, где нет зазора между намерением и исполнением, нет и мысли о греховности, п. ч. делаемое необходимо. Греховное начинается с ненужного. «Я, в сущности, мог бы этого и не делать, но отчего бы и не попробовать?..» – примерно так мыслит тот, кто собирается согрешить. Причем грех этот совсем не отвлеченное понятие, воспитанное в нас Церковью или обществом. Дело обстоит гораздо хуже: мы находим его в самих себе; он в нас. Не воспитывайте в ребенке никакой так называемой особой «нравственности», но постарайтесь развить его душу, и без всякого указания от вас он придет к понятию греха. «Я мог, но не должен был этого делать» – вот грех, как мы его ощущаем изнутри. Это *совсем* не то, что «мысль о мнении других», перед которой мы будто бы трепещем. Это настойчивый голос, который мы слышим *внутри себя*.

Если бы духовное состояло просто в усталости от плотского, т. е. было бы выражением вроде «человек минус плоть», грош ему была бы цена. «Человек минус плоть» есть то, чем занимается современная «психология» – простая совокупность нервных раздражений... Дух – то, что *выше* человека, что больше суммы слагаемых, т. е. недостижимо путем простого вычитания, а именно на это арифметическое действие возлагает надежды всякая мораль, например, учение Л. Толстого. Что Лев Толстой не христианин, догадывались и его современники, несмотря на все попытки графа толковать Евангелие. Но следует сказать больше: христианство призывает ко всяческой *полноте духовной*, к тому, что прямо противоположно *урезанию*, упрощению человека во имя морали². Здесь коренное расхождение христианства со всяческой моралью, даже сильнее: *христианство неморально, а мораль может быть христианской только в положительной своей части*, в области увещаний к лучшему. Христианство принимает человека целиком, но говорит: «Смотри, не отягощай своего духа тем-то и тем-то: плохого в том нет, да душа твоя прилепится к ненужному и никогда отойти не сможет, так рабой ненужного и останется». Мораль тому же человеку кричит с порога: «Отойди, отойди, ты нечистый! Выполни сначала мои предписания, в особенности то-то и то-то, и только потом приходи, а если что для тебя непосильно, то постарайся свою слабость оставить втайне!» Весьма, весьма мало общего между христианством и моралью. Отсюда и вытекает для моралиста – возвращаясь к графу Л. Толстому – необходимость исказить Новый Завет. «Лучше с моралью, но без Бога», говорит себе закоснелый моралист, и относится к Богу с большим подозрением, именно так, как относились ко Христу древнейшие моралисты – фарисеи.

В нас две природы, и корни доброго и злого *равно* уходят в глубину. Вопрос в том, как жить с этими двумя природами и неизменной между ними раскачкой? Человеческая душа выглядит луком, натянув который, можно послать стрелу одинаково далеко, но в разных направлениях. Доброе и злое, высшее и низшее, человеческое и животное, божественное и человеческое – как ни называй эти два порядка ценностей, они в нас укоренены равно, и чем больше порыв к одному, тем больше откат и противодвижение к другому – правда, только в одном направлении: «отдача» всегда направлена от высшего к низшему, никогда не наоборот. Только за лучшее в нас мы расплачиваемся порывами иного рода; говоря языком Церкви, соблазн препятствует только праведным делам; но праведность никогда не бывает искушением и камнем преткновения для нечестивого. Вот и всё, что мы можем уверенно сказать о нравственности. «Великие праведники и великие грешники вылеплены из одного теста», говорил

К. С. Льюис. И как жить с таким знанием? «Будьте добрыми и разумными», советует нам тепловатая мораль; но нравственность неразумна, это уже очевидно – разумно всё, что угодно, только не нравственное поведение; а доброта... доброта, как показал нам Достоевский (если уж нужны какие-то свидетели) всегда сопутствуема соблазном. И снова мы возвращаемся ко Христу: «Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилие восхищают его». Это совсем, совсем не то же, что «быть разумным и добрым»...

Можно – на словах, конечно, – упразднить совсем понятия доброго и злого, правдивого и ложного, прекрасного и безобразного, «переоценить все ценности» и стать «по ту сторону добра и зла», но только на словах. Эти категории не плод нашего воображения, они существуют в действительности, и доказательство тому их *несмешиваемость*. Объявите равно достойным прекрасное и безобразное, истинное и ложное (как это делает демократия, для которой это всё только «мнения») – и установится не равномерная смесь того и другого, как можно было бы подумать, но чистое, откровенное *безобразие и ложь*. На словах можно отказаться и от правды, и от красоты, но последует неприменная расплата: торжество ложного и безобразного. Это факт, не предположение; можно только по-разному истолковывать этот факт. Во-первых, можно сказать, что зло и безобразие суть естественные, природные ценности, к которым возвращается «освобожденное» человечество. Можно сказать и так, что правда и красота суть ценности *роста, труда и усилий*, недоступные праздному, безответственному и себялюбивому уму. В настоящее время безусловно господствует первое объяснение. Если Вл. Соловьев иронически выражал нигилистическую веру словами: «Человек произошел от обезьяны, следовательно, будем любить друг друга», то теперь молчаливо подразумевается гораздо большее: «Человек – злобная, лживая, жестокая, похотливая тварь, следовательно, его ждет блестящее будущее». Формула эта, однако, настолько лжива, что даже на легковерном Западе наших дней охотнее верят в близкий конец света, чем в это блестящее будущее...

Такой «символ веры» не в силах долго просуществовать. Поклоняться злу во всех его проявлениях, т. е. в конечном счете – назовем вещи своими именами – *сатане*, хорошо только в благоустроенном и спокойном государстве, наслаждаясь жизненными удобствами и покоем. Беспкойный интерес ко всему извращенному, дурному, жестокому, который мы наблюдаем в странах победившей свободы, говорит о крайней пресыщенности ее *сугубо материальными* дарами. Но положение материального изобилия при крайней духовной бедности³ не будет вечным, да что там – не будет даже достаточно долгим. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать остановку колеса производства и потребления, которое с таким шумом и блеском вращается на современном Западе, восхищая наших неразумных соотечественников... Хорошо быть дурным от скуки, безделья и избытка благополучия. Но что-то говорит мне, что избыток благополучия у тех народов, которые сегодня желают быть водителями человечества, будет недолог. «Ибо <грядет> день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все превознесенное, – и оно будет унижено, – и на все кедры Ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы Васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли Фарсисские, и на все вожделенные украшения их. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится».

Все старые, отвергаемые эпохой вопросы, которыми задавался пишущий эти книгу, тогда вернуться.

В области чувственной любви мы грешим постольку, поскольку неспособны к чистой радости. Всё, что без радости, есть грех. Нет стыда в самозабвенных играх юношей и дев, но только там, где эти игры *действительно* самозабвенны. Мы грешим ровно настолько, насколько мы не дети. Что значит в таком случае «без греха»? Воздержание? Умерщвление плоти? Но дети не воздерживаются и не умерщвляют плоть, а безгрешны. Так почему же? Потому что играют и радуются; сладострастие же – возвращаюсь к тому, с чего начал – сла-

доистрастие дальше всего от игры и радости. Оно всё насквозь умышленно и себялюбиво, и к нему совершенно не подходит слово «нечаянно». «Нечаянно» и значит – без греха.

...Но вот вопрос: всегда ли чиста радость? Или, как бы спросил человек Средневековья: могут ли радоваться демоны? По внутреннему ощущению (которое может ошибаться, хотя другого руководителя в этих вопросах нет) – кажется, что радость уже *предполагает* чистоту чувства; что всякая темная примесь ее принижает – до степени удовольствия, наслаждения и т. д. Вот один из вопросов, на которые – так сказать, гуляя, – набрел Розанов (опять я возвращаюсь к нему!) Вот цепь последовательных превращений: радость – удовольствие – наслаждение – насыщение – потребление... По одну сторону нет греха, по другую он есть. Если дело обстоит так, то Розанов *в светлой части* своих писаний не ошибался, и чисты, без всякого греха оказываются многие такие вещи, к которым мы привыкли подходить с осторожностью, как возможно опасным для души. Правда, эта безгрешность дается под трудным, почти невыполнимым условием: «Будьте как дети». «Любви, – говорил Уайльд, – достойны все, кроме тех, кто считает себя достойным ее». Нечто подобное и здесь: все радости, *может быть*, чисты – но только для тех, кто к ним не стремится намеренно и себялюбиво; всё хорошо, что достается *нечаянно*. Рай близко, – можно воскликнуть, – но и безмерно далеко, т. к. все мы привыкли «достигать желаемого», а где желаемое – там намерение, «чего я заслуживаю, то и возьму»... и рай опять далек. Мне всё кажется, что автор «Уединенного» *отчасти* прав, и весьма многое безгрешно и чисто, но на таких условиях, по такой цене, какой мы заплатим чаще всего не умеем: «будьте как дети».

«И всё будет свято, потому что всё будет со страхом Божиим» – в этой мысли Розанов силен, почти что непобедим. К сожалению, он не настаивал именно на этой формулировке. То, как Розанов выражался обычно, заставляло думать, что он видит святость там, где обычно находят ее противоположность. Другая же его мысль, более тонкая и скрытая под корой грубых и преувеличенных утверждений, была та, что *всё свято, что делается со страхом Божиим*, в том числе и жизнь пола. Не «пол свят, потому что приближает к Богу» (как выражался Розанов обычно), но всё свято, или хоть добро, что делается с памятью о Боге, в том числе и земная любовь. Так ли обстоит дело в действительности – можно спрашивать. Мне иногда кажется, что *может быть и так*. При таком выражении своих мыслей Розанов из противохристианина ⁴ превращается во что-то совсем другое, т. к. идеал цельного освящения земной жизни христианству совсем не чужд, хотя оно и скорбно сознаёт, что по миру прошел разлом, в нем свободно действует зло... Но и самому Розанову это выражение собственных мыслей пришло, сколько я знаю, чуть ли не однажды. *Чувство и чувственность* обычно вели его гораздо дальше, в область темных мечтаний.

Непосредственное ощущение таково, что где-то в глубине душа двоятся между божественным и земным, дрожит на своем корню и клонится то на одну сторону, то на другую... Как будто над ней проходит ветер. Корни «плотского», т. е. в первую очередь пола, там, в темной глубине; и для колеблемого на своем основании ростка, с которым можно сравнить душу, то «плотское», какое мы знаем, – слишком грубо и вещественно, отзвук чего-то другого в нашем более плотном воздухе. Обычная ошибка разума, если уж он признаёт какое-то значение за плотским, за полом – думать, что центр, источник ощущений находится «здесь», наверху, в играх плоти (на этом пути можно дойти сколь угодно далеко вплоть до почитания фаллоса в розановской или фрейдистской разновидности), но на самом деле всё наоборот: наше вещественное «плотское» – только отзвук чего-то гораздо более тонкого, невещественного и глубокого. В этом случае жизнь пола оказывается вещественным проявлением невещественных начал, как и – страшно сказать – наша религия. Вот камень, на котором поскользнулся петербургский мудрец. Что-то тихо звенит в глубине, мы слышим колокольчик и идем на звук, и *никогда не приходим*, т. к. зов идет из глубины, в которую нет пути. В этом понимании (в

котором и я сам, впрочем, не вполне уверен) «пол» как приспособление для продления рода и «пол» как явление душевной жизни должны быть разделены, хотя и не до конца, п. ч. тут и там происходят смешения, дух действует в плоти, а плоть влияет на дух. Нечто подобное, кажется, защищал и Платон... Во всяком случае, для человека, в переживаниях, связанных с полом, видящего только «физиологическую» сторону, «игру гормонов» – целый ряд вопросов, ряд связей душевной жизни останется незамечен и необъясним: любовь – красота – нравственность – грех – восторг – безобразие... Для него всё это только, по выражению нашего довольно-таки бесстыдного времени, «половая жизнь», для которой проповедуются «правильные приемы». И еще больше надо сказать, еще парадоксальнее: соитие, о «правильности проведения» (т. е. обеспечении наибольшего удовольствия) которого так заботится наше человеколюбивое время, не означает еще жизни пола. Можно (воистину, теперь я говорю как Розанов) иметь соития, но не иметь притом жизни пола, а только физиологические отправления – в силу собственной незрелости, т. к. для всего на свете необходимо созреть. Это в первую очередь относится к несчастным детям эпохи безграничной «половой свободы». Всё-то у них есть, кроме Эроса и любви...

Дух и пол проявляются в нас сменяющимися друг друга волнами. В одном и том же человеке пол возвышается временами ровно настолько, насколько понижается дух, и наоборот, повышение духа, состояние бодрости и творческой готовности может быть соединено с полным отсутствием желаний. Даже больше: страсть, желание выше всего поднимается тогда, когда дух молчит; во времена внутренней темноты и подавленности. Страсть темна. Времена бодрости духа ясны и... не «бесстрастны», совсем нет, они полны напряженной и богатой жизнью, горят огнем – *но без чада*. Я бы даже сказал, что у духа в эти минуты есть то, в поисках чего – безуспешных! – в поисках чего он прибегает к полу с его сильнодействующими снадобьями. Разумеется, говорить о подобном можно только на основании внутреннего опыта, и эти выводы вполне могут быть осмеяны людьми, ни подъема, ни понижения в названных областях никогда не знавшими.

Чтобы усомниться в ценности наслаждения, одного наслаждения недостаточно. Нужна очень большая ясность сознания в сочетании с очень большой глубиной наслаждения, что не всем дается. Это как раз то, что отличает героев Достоевского. Иначе – здесь нет вопроса. Вопрос видит только тот, для кого *обе бездны* равно несомненны. Если же что-то одно недостаточно отчетливо в сознании, и либо пол, либо дух удастся принизить до «второстепенного» – тогда, конечно, вполне возможно сохранение нравственного равновесия, безмятежности и насмешливого или презрительного взгляда на «этих ханжей» или «этих развратников»...

В половой любви есть нечто *сладко-ненужное*, причем чем слаще, тем ненужнее. Непосредственное ощущение говорит, что душа противится удовольствию. Ее суждение в этих вопросах высшее. Кстати, есть твердое и распространенное убеждение, будто высшие, непререкаемые суждения суть суждения с точки зрения морали. (Назову Льва Толстого в качестве ближайшего примера.) По меньшей мере, такое представление бытовало до нашей эпохи замены «морального» – «научным». Это представление ложно. Высшие суждения – суждения с точки зрения непосредственной душевной жизни. Только глазами души можно оценивать такие вещи как милосердие, жестокость, вожделение и воздержание... Морали *нечего сказать* о любви полов, просто потому, что любовь не имеет ничего общего с моралью. Судить о подобных вопросах можно только так, как это делает Евангелие, которое не говорит: «это хорошо или дурно», но говорит: «это хорошо или дурно *для души*». Других достойных доверия оценщиков нет. Чтобы быть «хорошим», недостаточно найти твердую мерку своим поступкам, вернее, это приложимо не ко всем поступкам, а только к самым внешним и безразличным. Попробуйте-ка

судить по какой-либо мерке мечты, намерения, сны, любовные устремления – в общем, всё *самое главное*? Здесь причина неудачи толстовства, всяких поисков «мерки» и безуспешной подгонки под эту мерку своих и чужих дел...

Наибольшие грехи против собственной души совершаются в поисках *полноты жизни*. И вообще, греховность и эта искомая и ненаходимая полнота жизни как-то связаны. Внутренняя опустошенность невидимо и прочно связана с желанием во что бы то ни стало себя наполнить, и чем острее это желание, тем менее достойное заполнение находит личность. «Любви, – как говорил Оскар Уайлд, – достойны все, кроме тех, кто считает себя достойным ее». Примерно то же и здесь: судя по всему, в области полноты жизни – находит только тот, кто не ищет; отвечают только тому, кто не спрашивал. Алкание полноты *никогда* не удовлетворяется, вернее, чем больше желание, тем безобразнее и искаженной будет его исполнение. Почему? Я бы сказал: потому, что полнота жизни внутри нас, и всякое стремление наружу только удаляет нас от нее... Наша жизнь уже полна, во всяком случае, уже содержит возможность полноты, и только прилагая усилия нам удается от нее уйти. Многим это удается, и тогда они ломаются обратно в двери своей души, но эти двери уже закрыты.

В сущности, весь великий переворот в области нравственного, совершенный в новейшее время, и которым мы обязаны т. н. «научному мировоззрению», свелся к уничтожению *оценок* и проповеди *бескачественности вещей*. Одним из главных последствий стало упразднение стыда – по меньшей мере, создание для среднего человека возможности не стыдиться вовсе. Совесть была обезврежена и приведена к молчанию. Не стало ни постыдного, ни противоестественного, ни, тем более, душевредного – с этой категорией удалось покончить раньше всего, – но только «естественное». И дьявольский смысл этого переворота, иначе его не назовешь, был в том, что по истечении недолгого времени *одно только прежде постыдное, душевредное и низменное* и стало считаться «естественным». Упразднение нравственных оценок привело к исчезновению самих оцениваемых качеств – а именно, высших и положительных. Отказ от суждений о добре и зле оказался отказом от добра как такового. Ожидали, конечно, совсем не того: думали, что добро и зло – только произвольно даваемые имена, таблички, которыми человек украшает мироздание. Оказалось же всё совсем не так. Оказалось, что добро проявляется в жизни ровно настолько, насколько мы умеем его распознавать, его почитать и ему поклоняться, и отказ от нравственных суждений не просто «освобождает» человеческую волю, но освобождает ее *на пути к чистому злу*. Вот что означает великий нравственный переворот, совершенный людьми научного мировоззрения и демократических убеждений. Признание равных прав за дурным и добрым (основное верование современной демократии) ведет не к «свободному их соперничеству», а к откровенному и наглому торжеству дурного, потому что какое же может быть «свободное соперничество» со злом?!

Сатана (или, если хотите, зло) принимает деятельное участие в событиях этого мира, и его победа гораздо ближе и возможнее, чем казалось еще сто лет назад. Удивляться, вообще-то говоря, нечему: деятельность зла в мире не была тайной и для наших далеких предков. Удивительно другое: то, что Зло не понимает, что его победа на земле будет означать неудачу, неуспех и впоследствии гибель человеческого рода. Оно в силах победить, но не в силах воспользоваться победой. Вот что вызывает удивление у трезвого наблюдателя козней зла. Не только *не тайна*, но просто очевидно, что окончательный отрыв человека от *божественного*, т. е. от его вечных корней, приведет его к упадку и окончательному падению, однако зло упрямо добивается этой цели, не сознавая того, что поработанное человечество недолго будет его радовать своей покорностью. Вероятно, таково общее правило: *зло изощренно, но недальновидно*. Победа для него – самодовлеющая ценность, ради которой всё дозволено, и на пути к этой

победе зло неодолимо, однако ни удержать ее, ни воспользоваться ей оно неспособно. Если таково общее правило, то даже в самых крайних обстоятельствах у нас остается еще надежда.

Можно сказать и так: добро уже есть, а зло только ищет воплотиться. У него есть только жажда бытия, которую оно никак не может утолить. Слабое и угрожаемое, бессильное и безоружное добро твердо стоит в мире: ему служат, для него поют в церкви, оно говорит в душах поэтов: всё, что ни делается со всей душой и всем сердцем – делается для него. Как не позавидовать! Разве *для зла* когда-нибудь пели или мечтали? Не имея сил быть, зло заимствуется отраженным светом. Если мы определяем добро как неразрывную *правду и красоту*, то во зле эта связь непоправимо разорвана и ни при каких обстоятельствах не может воссоединиться. Зло может взывать к нашему чувству прекрасного – но при этом *силой вещей* обязано бесстыдно лгать; оно может и говорить правду, но дела его будут обречены на безобразие. В этом последнем случае, однако, ему приходится пользоваться тщательно отобранной правдой, и непрестанно внушать массам, будто только безобразное и может быть правдиво, а правда – всегда безобразна. Впрочем, зло проделывает то же самое по отношению к красоте, уверяя, что красота всегда вневременна, если не безнравственна, а всё нравственное – пресно, пошло и скучно, придавая, таким образом, аморализму вид стремления к красоте... В общем, путь зла есть путь постоянных подмен.

Чья-то невидимая рука ведет человечество к примирению со злом и символами его. Я имею в виду, конечно, западное человечество и примкнувшую к нему Россию. Противники, с которыми пришлось столкнуться Западу в последнее столетие, по-прежнему остаются пугалами для детей, но не потому, что они служили злу, а потому, что восставали против Запада. Готовится какой-то еще невиданный союз человечества со злом, которое прежде, являясь на землю, всё-таки оставалось чужаком и насильником... «По ту сторону добра и зла» вырос чудовищный цветок: новая нравственность, выражаемая словами: «*Зло есть то, что мешает мне победить моего врага*». Сила стала на место Бога, и гордость – на место совести. Культурные ценности прошлого признаются в таком ограниченном размере, который делает их не более чем любопытными безделушками, не имеющими никакой пользы в оружейной мастерской, в какую всё более превращается мир. И это движение, как мне кажется, неотклонимо. Большой корабль труднее перевернуть, чем маленькую лодку, но *этот* корабль уже лежит на боку. Чего же требует эта эпоха от нас? Деятельности? Борьбы? Думаю, что нет. В силу своей несчастной приверженности к большинству голосов как последнему доказательству, она беззащитна перед злом, которое этим большинством уже успело заручиться. Нет, в нынешних поколениях еще не все поддались – но ведь их и не спрашивают. Демократия в том и состоит, чтобы важнейшее решалось втайне, а второстепенное выносилось на общий суд. Понятия о добре и зле живучи, но даже они не устоят перед сменой поколений и всё более и более могущественной проповедью силы и удовольствия – мелкого самобожия, в котором всё решительнее угадывается бесовство.

Зло накатывает приливами, и натиск его кажется неодолимым, но при всей видимой силе зла – на земле оно бесследно. «День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание», но у зла нам нечему научиться, и если добро обладает историей и прошлым, то зло всегда *сейчас*, и его сходство с бывшим прежде – слепое повторение, не признак наследственности и родства. Проследить в истории можно только *благие* влияния. У каждого народа и эпохи свое зло, ни предков, ни потомков не имеющее. Но за эту *беспочвенность и бесследность* оно наделено страшной силой. Добру дана вечность, но (и потому!) его легко, на время или надолго, вытеснить с земли. Зло призрачно, всё бытие его – *здесь и сейчас*, от восхода и до заката солнца, но (и потому!) оно беспощадно в нападении и отчаянно в обороне. «У меня есть вечность», гово-

рит Добро и отступает в тень. «У меня есть только один день», говорит себе Зло и уверенно наступает, чувствуя за спиной холод и пустоту.

Полушутя, полусерьезно можно сказать, что *в аду каждый черт пользуется полной свободой и вполне независим от других*. Мораль одиночки, правда, может быть как демонического, так и противоположного свойства – т. е. из одних и тех же оснований одиночества и невовлеченности можно сделать различные выводы. Нравственность всё-таки *не* следует из общественного устройства, но положение личности в обществе влияет на ее нравственный выбор. *Наши поступки свободны, но возможности ограничены обстоятельствами*. Совершенная независимость личности, нравственная и хозяйственная, о которой раньше могли только мечтать, стала возможной, и открыла перед личностью либо путь высшего развития, средства к которому даются такой независимостью, либо путь крайнего эгоизма, «жизни для себя», поощряемой к тому же современным обществом – путь демонический.

В человеке, говорящем подобное, со всеми основаниями могут увидеть еще одного проповедника нравственности, моралиста – и ошибутся. Я говорю о «добром» и «нравственном» совсем не с моральной точки зрения. «Плохой», на мой взгляд, не значит «безнравственный»; добро и нравственность не равнозначны. Говоря кратко, *нравственность* есть то, что общество думает о *добре*. Эти мысли переменчивы, значение их относительно, но предмет – безусловен. (Точно так же, как всё научное знание представляет только череду правдоподобных предположений на бесконечном пути к наиболее правдоподобному.) Именно здесь я вижу коренную ошибку современного мышления. «Относительным» сочли добро, а не суждения о нем; затем отказались от нравственных суждений вовсе и объявили о начале новой эпохи *бескачественного существования*. Всё это напрасно... Сотрясать основы человеческого общежития – небезопасное занятие; кто расшатывает основы, должен чаще поглядывать наверх – не рухнет ли на него кровля.

Вопрос о том, почему в мире существует зло, занимавший столь многих философов, никогда не привлекал моего внимания. Злом мир стоит и злом подпирается, что же еще спрашивать? Гораздо более любопытно, на мой взгляд, то, что *при всей удобопревратности мира ко злу – в нем есть добро*, и это добро неуничтожимо. *Здесь я вижу настоящий вопрос*. Трудность не в том, как примирить всеблагого Бога с неблагим мирозданием, т. е. создать «теодицею», трудность (или, скорее, радость, раз уж мы смотрим на дело с противоположной стороны) – радость в том, что в подвластном злу мире постоянно присутствует добро, гонимое, угрожаемое, но не выводимое из мира никакими усилиями зла. Мало кто занимается сегодня теодицеями, зато почти все убеждены в том, что зло есть почва и дом человеческой души, а если и не зло, то внеморальное природное существование, состоящее в пожирании слабых сильными, которое отличается от зла одним названием. Таким образом, вопрос о «теодице» – примирении идеи всеблагого Бога с видимой властью зла – на глазах сменяется другим вопросом: о всемогуществе зла и призрачности мирового добра. Продолжая линии рисунка, мы должны сказать, что впервые в истории мысль задалась доказательством *всемогущества сатаны*, и само «заинтересованное лицо» (как говорил Вл. Соловьев об Антихристе) предъявляет всё новые доказательства своей власти. При так поставленном вопросе наличие и неуничтожимость добра в мире выглядят очень добрым признаком, пусть даже нам и приходится представить себе *борющегося Бога* – образ, который не приходил на ум средневековой (с его приверженностью неподвижным формам) и новому времени (с его страстью к оптимистическим построениям⁵). «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его» – пожалуй, лучше эту мысль не выразить.

Мораль – сплав представлений о желательном и запретном, иными словами – о здоровом и больном. Мораль разделяет человеческие желания на достойные и не достойные удовлетворения; без признания *недостойности иных желаний* ее нет. На известной ступени развития последовательно проведенный «либерализм» (за отсутствием лучшего слова будем так называть приверженность к свободе ради нее самой) исключает саму возможность существования морали, и на современном Западе эта ступень уже достигнута. Все желания признаются равно «естественными» и достойными, и главной задачей становится охрана человеческой личности от ограничений ее права желать и добиваться желанного. Свобода оказывается бескачественной ценностью, безвоздушной средой, в которой, не встречая себе сопротивления, скользят желания... Поощряется безудержное и ненасытное формообразование – при полном небрежении содержанием, тогда как мораль, с ее запретами и побуждениями, способствовала в первую очередь выработке богатого и сложного содержания (чтобы не вдаваться в долгие объяснения – уже потому, что пресекала все простые и низменные поползновения). Упразднение морали привело к обвалу содержания и бережной охране опустевшей формы. В словах «свободная личность» ударение поставлено на «свободе», «личности» же может не быть вовсе. Взгляд на общество как на охраняемое законом разнообразие всё более пестрых форм напоминает восторг исследователя перед какой-нибудь «восхитительной плесенью», да, пожалуй, имеет с ним один корень: это то же учение Дарвина о бессознательно развивающихся формах, примененное к обществу. Цениться начинает даже не сама форма, но та стремительность, с которой формы меняются и распространяются; не случайно ключевое слово современного общества – пресловутая «динамичность». Свобода верить и трудиться, о которой пеклись наши предки, оказалась свободой атомов, *правом на хаотическое кружение*. В этом безумии, однако, есть своя последовательность. Несколько столетий назад борьба шла именно за право *выразить определенные содержания*; со временем положительная цель забылась, осталось только требование свободы самовыражения как таковой. Спорили-то о человеческом достоинстве – а пришли, пользуясь словами Достоевского, к «праву на бесчестье». Сам предмет спора исчез. Речь шла об иных путях образования *высшего человека*, а не об отказе от идей роста и самоограничения, а пришло к противоположному: к освобождению от всяких ограничений, от самой тяги к высшему. Мы еще не осознали, что не просто пожертвовали *нравственностью ради свободы* – это, пожалуй, кое-кто сознаёт, – но ради свободы мы пожертвовали духовным ростом поколений и всем будущим человечества. Освободив личность от нравственных конфликтов, мы краткосрочное животное благополучие масс предпочли долговому и трудному росту.

К встрече со Злом мы готовы меньше, чем какое бы то ни было из предшествующих поколений, прежде всего потому, что мы – в большинстве своем – не допускаем его существования, не верим в сатану, и, сталкиваясь с непосредственными его делами и слугами, недооцениваем угрозу. То, что было самоочевидно для Средневековья, нам кажется невероятно; мы готовы видеть только злонамеренность отдельных лиц там, где речь идет о чем-то гораздо более глубоком. В сущности, мы верим в то, что человек добр по своей природе, что никто не совершает зла по своей воле, но только по вине недостатка просвещения и неблагоприятных обстоятельств – даже если мы никогда не читали Руссо и Маркса. Мы несносные и безудержные оптимисты относительно человеческой природы, и это очень плохо, т. к. именно нам – и еще больше нашим ближайшим потомкам – приготовлена встреча с сознательным и сильным злом. Мы же привыкли считать, что человек добр, но может придти к дурным мнениям, которые сделают его опасным... Зло, таким образом, мы видим только во мнениях, в мыслях, тогда как оно лежит глубже – в области духа. Зна́мения этого рода мы умеем различать, пожалуй, хуже, чем иудеи времен Христа, о которых сказано: «лицо неба вы умеете различать, а лицо времени от вас скрыто». Печальная и бесспорная истина: либо признавать Бога, либо сатану, ибо «нельзя служить двум господам» – нам недоступна. Мы надеемся найти теплое место где-

то между борющимися сторонами, где можно было бы жить в свое удовольствие, наслаждаясь как блеском солнца, так и игрой теней – смотря по настроению, но такого места нет. Как бы мы ни хотели быть одни (а к *уединению и силе* и сводится мечта новейшего западного человечества, совсем как у Подростка в романе Достоевского), с нами всё равно будет кто-то *другой*.

Стремясь к правде и красоте, мы вынуждены признать, что в целом ряде вещей к правде и красоте присоединяется какой-то трудноопределимый яд – а мы всё равно продолжаем их желать. Этот вопрос томил Льва Толстого; Толстой даже думал, будто «разрешил» его: через отсеменение соответствующих желаний и отказ видеть правду и красоту в предмете этих желаний. «Это гадко. Сама природа сделала, что это гадко. Гадость и безобразие». Обычное для Толстого смешение понятий: для природы *нет* ни гадкого, ни безобразного; она не нравственна. Отведя ссылку на «природу», можно отвести и ссылку на безобразие – на этот счет много полезного и глубокого сказано Достоевским. Помните Митю Карамазова об идеале Мадонны и идеале содомском: «В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, – знал ты эту тайну или нет?» Здесь тоже своего рода метафизика, метафизика пола. Ведь переживания любви, соблазна, страсти *ничуть не следуют* из движений белков и гормонов, но только сопутствуют им. Если бы понятие красоты имело «естественное» происхождение, оно было бы всеобщим и неизменным. На деле, будучи явлением духовной жизни, понятие красоты изменчиво, подвержено развитию, и только у высших народов тяготеет к единообразию – на вершинах развития, там, где духовная природа красоты проясняется. Однако и здесь рука об руку с красотой входит соблазн – тонкий, едва уловимый яд, проходящий и через последнее сито...

II. Творчество. Искусство. Мысль

Положение писателя, который пишет *ни для кого*, гораздо благоприятнее положения любимца публики. Он знает, что никогда не увидит своего читателя, и для молодости в этом «никогда» есть даже своя сладость, как во всякой неизвестности и недостижимости. Однако пишущий ни для кого пишет *низачем*; для уединенного писателя вопрос о смысле жизни гораздо острее, чем для человека, способности которого признаны обществом. Жизнь его бессмысленна, однако он ее продолжает, и даже находит творческий восторг в бесполезности бытия. Между прекрасным и полезным уединенный писатель выбирает прекрасное.

Всё хорошее хорошо *нипочему*, без объяснений. Только безобразное имеет свои «положительные признаки», на которые можно указать. Область искусства, поскольку оно занято прекрасным, – область беспричинного и «неразумного». Ум не принимает участия в нравственном и прекрасном... зато и мстит им, разрабатывая учения о ненужности красоты и бесполезности добра.

Было бы неправильно думать, будто высокие истины даются только ценой нравственного падения или хотя бы потери красоты и благообразия жизни (на что намекает известное место Исаии, где он говорит об Имеющем прийти), но надо признать, что высокие истины, по меньшей мере, исходят из той же жизни, что знала падения, бессилие и отчаяние. Знакомство с высшими истинами в то же время знакомство с чувством высшей оставленности. Высшие истины таковы, что их не изнасят из благополучной, успешной, торжествующей жизни. *Торжество вообще не учит*.

Как писателю, мне противна мысль о *законченной* книге. Законченность подразумевает невозможность совершенствования. Что закончено, то духом оставлено. Окончательное суждение есть ложное суждение. Мне нравится мысль о книге, любое место в которой может про-

должать оставленную некогда мысль. Жизнь является такой книгой; порядок и последовательность не входят в число ее литературных достоинств.

- Он жил трудно и бедно, и это его испортило.
- Не верю. Трудности еще никого не портили.
- Но бедность и труд ожесточают...
- Успех и богатство ожесточают еще больше. Кто видел надменного бедняка?

Говорить о великих и последних вопросах жизни и совести можно только применительно к себе, потому что о других в этой области не судят. Обычно это производит впечатление нескромности⁶, хотя имеет причиной только сдержанность пишущего.

Почему Достоевский не был услышан вовремя? Почему по пути его мыслей не пошел никто из современников? Возможны разные ответы. Но начать следует с того, что за творцом следовать нельзя или невозможно: он уводит в свой мир, в котором все вопросы разрешены и в то же самое время обострены до предела. Противоречия, которые обычно оплетают ноги идущих, в этом мире способствуют движению. Однако (и на это всегда обращают внимание скептики) этот мир весь пронизан внутренним смыслом, весь в стремлении к этому смыслу, но *сам в себе* его не содержит. Смысл находится вне внутренней жизни творца, как и вне всякой жизни.

Легкомыслие – способность сильного ума. Слабый ум великие мысли подавляют, и он становится сначала восторженным, а потом угрюмым. Право же, нужно достаточное легкомыслие, чтобы не только принять великие истины, но и жить с ними. Они, эти истины, не любят унылых рабов или жарких поклонников; истина, когда хочет поселиться в человеке, ищет в нем способности шутить, и оставляет, когда не найдет.

Тому, кого не желает слушать современность, остается только обращаться к вечности. В истории продолжают звучать только те голоса, которых современники не хотели слышать. Условие долговечности произведения – отсутствие своевременной оценки.

Великое дело ввести человека в круг какого-нибудь «мы»... «Я» признак могущества («Се, Азь на вы...») или хотя бы гордости, во всяком случае высоты, и всегда одиночества. Собственное мнение непременно возводит на некоторую высоту, дает нравственную силу, но делает личность слабой перед напором не имеющего мнений большинства. Можно сказать даже, что всякое достоинство, как отличие, есть слабость; чем большими дарованиями обладаешь, тем больше усилий тебе понадобится, чтобы уцелеть. *Дарования одиночки суть его слабости перед лицом большинства.*

На вопрос Иова и Кьеркегора, а впоследствии Шестова: «имеет ли рыдание философский смысл?», следует отвечать: «да». Однако предметом творчества следует делать не личные вопросы, но личные ответы, оставляя читателю догадываться о самих вопросах. «Дано мне жало в плоть», говорит апостол; толпа жаждет всё знать об этом «жале», и ничего – о личном опыте, которым оно обогатило пишущего.

Времена, требующие от писателей «честности», неблагоприятны для литературы. Судить о «честности» гораздо легче, чем о даровании. Дарование скрыто, а в своих проявлениях чересчур лично, и к тому же его обаяние не общеобязательно. Творчество не только основывается на даре и вдохновении, но еще требует одаренной среды для себя. Искусство, без сомне-

ния, воспитывает; но еще прежде оно нуждается в хоть чуть-чуть воспитанном оценщике, иначе оно останется искусством для творцов.

– О чем вы пишете?

– Я никогда не мог ответить на этот вопрос. Так же можно спросить: о чем моя жизнь?

– Хорошо, и о чем ваша жизнь?

– Наверное, такого вопроса никто еще не ставил. О чем моя жизнь? О Боге, о красоте, о любви и о творчестве и немного о смерти.

Знание не имеет значения, когда речь идет о высших истинах. «Знать» их нельзя. Самые неоспоримые достоверности внутренней жизни, как дар и вдохновение, бояться душевного упадка. Их бытие не нуждается в нашем признании, но руководить поступками они могут только тогда, когда в них верят, их чувствуют, к ним стремятся.

Всякий говорящий ищет веры своим словам. Даже лжецу обидно недоверие. Сознание личной ценности крепнет в человеке, которому верят, отсюда нужда в слушателе у писателя, проповедника, поэта. Без веры их слова не только расточаются в пустоту, но и не имеют цены. И драгоценности нужна оценка.

Отталкивание от чувственной жизни тем сильнее, чем больше стремление к ней. Сильнее всего отталкивает то, в чем видят внутреннее родство, чему возможно *добровольное* подчинение. Поэтому Достоевский выше Толстого: он не проклинал плоть, следовательно, был способен над ней возвыситься и не подчиниться.

Мыслителя сжигает один-единственный вопрос; отблески этого пламени падают на различные предметы... Так образуется философия. Мыслитель может сказать: «Я пережил основания моих мыслей»⁷; читатель этих оснований чаще всего не знает, оттого публика так любит истолкования побуждений творца. Не слишком смело будет сказать, что основным побуждением творчества служат непримиренные внутренние противоречия, душевный разлад и несоответствие желаний действительности. Люди в ладу с действительностью не испытывают нужды в творчестве. Оно вызывается душевной неустроенностью и неутоленными желаниями. Конечно, я говорю о творчестве в области мысли...

– Достоевский слишком внимателен к низким сторонам жизни, ко всему «гаденькому» в человеке.

– Внимание к «гадкому» признак острой чувствительности к высокому. Замечать в жизни одну высокую сторону значит клеветать на жизнь.

– Но один писатель (Огарев) утверждал, что «поэту должно постоянно поддерживать себя в восторженном состоянии».

– Неправда! Натужная возвышенность хуже пошлости, она всегда кончается охлаждением, т. е. той же пошлостью, от которой так отталкивалась.

Мера истины – страдание, а не успех. Успех не имеет нравственной ценности, он необходим как оправдание усилий, но не может быть средством воспитания народов и личностей, как похвала не может быть средством воспитания детей. Несчастья необходимы для утверждения личности; без них она может быть только обаятельна, но непрочна.

– Большинство не может заблуждаться.

- Напротив. На то оно и большинство, чтобы заблуждаться.
- Что же, философ, по-вашему, учитель или пастырь большинства?
- Философ – не учитель большинства, философ тот, кто не поддается его подавляющему

влиянию.

Человек *дара* несравненно более уязвим для суда толпы, чем трудолюбивая посредственность. Он действительно ничтожен по сравнению с духом, который говорит его голосом. Творчество вовсе не плод труда и наблюдательности; во всяком случае вдохновенное. Вдохновение там, где личность верно судит о вещах, для суждения о которых не имеет личного опыта, или, как говорил Вейнингер, «знает всё, не учась ничему».

Труднее всего приходится атеизму, когда он встречается с вдохновением. «И я ничтожество, – говорит человек вдохновения, – но я знаю своего Бога. Он говорит моим голосом, и как бы ты ни убеждал меня в необходимости *любить одного себя*, я знаю, что без Него я ничто. Я – сухое дерево, только удар молнии меня делает факелом».

Вдохновенный автор, по общему мнению, обличает собственную глупость или незнание жизни. Принято считать, что жизнь не стоит вдохновения, а если и стоила, то когда-то прежде. Современность ставит себя выше жизни, т. е. выше размышления, вдохновения и творчества; она жизнью пользуется, но не видит, о чем тут размышлять. «Был человек и нет его; живи, пока жив».

Мудрость расположена между философией и поэзией. Поэзия для нее слишком легкомысленна, философия чересчур тяжеловесна. Только смешивая недостатки их обеих (потому что ярко выраженные особенности – в жизни суть недостатки; лучше вовсе не иметь отличий), как это постоянно делает Библия, можно к ней приблизиться.

Смысл «философии» в том, чтобы ходить по опасным местам. Ее нет без случайности, неизвестности и приключения. Вещи, о которых возможно полное знание, предметом философии не являются. Если мыслитель и прокладывает пути, он прокладывает их для себя самого, не для других. Философские открытия таковы, что их нельзя применять. Знания, найденные философским путем, имеют ценность всегда и только для *одиночки* в его жизни и смерти; для всякого большинства они ничтожны. Когда о мыслителе спрашивают: «Чему он учит?», можно отвечать: «Он учит такому, чему нельзя научить».

Одни говорят: писатель должен думать. Другие говорят: писатель должен наблюдать жизнь. Время от времени полезно и то, и другое, но первый долг писателя – слушать и успеть за свою жизнь услышать и рассказать другим как можно больше. Вдохновенные слова – услышанные слова; не будем переоценивать писателя. *Кто-то* говорит, а писатель слышит.

Евангелие учит простым языком беседовать о важнейшем. В отличие от философов, Христос знал, как нужно говорить о великом. Угадайте, у кого мог научиться Ницше этой мысли: «о величественных вещах следует говорить просто, то есть возвышенно и цинично»?

«Пишите для себя», – говорит общество писателю. «Помилуйте, – вправе возразить писатель, – это какое-то самоудовлетворение и противоестественность, писать для себя! Поэт *бросает плод творчества толпе* не в последнюю очередь потому, что больше в этом плоде не нуждается. Любовь к творчеству редко совмещается с любовью к своим произведениям, по меньшей мере завершенным».

– «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»...

– Неправда. Низость не является неизменным признаком истины.

– Вы оспариваете Пушкина?

– Напротив, я его подтверждаю. Он-то чувствовал, что здесь дороже; а в нравственном мире что дороже, то и истина.

– Но давно известно, что истина не может быть высокой.

– «Низость» другими словами значит: «простота понимания». Чем проще дается та или иная мысль, тем больше в ней видят истины. Таким путем выходят на свет *истины брюха*, в противоположность истинам духа общедоступные и бесплодные.

Под тяжестью насмешки рушатся самые высокие мысли. «Смеющийся и танцующий дух», которого вызывал Ницше, не так уж легок. Как бы ни был нам дорог смех, нужно признать, что он неизменно открывает ограниченность смеющегося. Смех – ответ ума на мысль, которая для него слишком велика, своего рода колики, вызванные трудной для усвоения пищей. Мудрость, правда, тоже смеется, но не так охотно, и более всего – над собой.

Философия – не только «хождение по опасным местам», но и поиски беспокойства. Быть спокойным безнравственно. Беспокойство, в том числе беспокойство совести, говорит о нравственной годности, или (чтобы не употреблять избитое слово «нравственный») о добротности души. Тем-то мытарь и лучше праведника, что он неуверен и страдает. Могут возразить, что в покое – счастье; но счастье, скорее, – состояние полета между потерей равновесия и ударом о «твердую почву». Оно не в спокойствии, но в сознании непрерывности движения; потерявший счастье обретает покой и, может быть, тоску.

Неизменное условие творчества – уверенность в том, что всё происходящее не является единственной и последней действительностью. Творцу для успеха творчества нужно верить в свое бессмертие или по меньшей мере не бояться смерти, иначе его произведения не переживут создателя. Временное не создает вечного. Поклонение факту, то есть видимой действительности, воспитывает людей дела, но не творцов. Искусство не существует отдельно от веры в бессмертие души.

– Он хорошо, но слишком уж своеобразно пишет. Не мог бы он быть чуть более общепонятным?

– Мог бы, конечно; но мне кажется, что в искусстве «хорошо» и «своеобразно» – одно и то же. Что повторимо, то не хорошо; ценится только неповторимое.

Думающим людям известна мучительная потребность чувствовать хоть кого-то на своей стороне... Она побудила Ницше говорить: «мы, свободные мыслители», хотя никакого «мы» тут не может быть. Даже проповедником движет первоначально желание найти хоть кого-то, кто бы с ним согласился, потому что ему тяжело быть наедине с истиной. Неразделенная истина гнетет.

На канве вдохновения можно вышить любой узор; однако не только мы, но и книги созданы «из того же материала, что и сны». Они так же сшиты из облаков вдохновения; сюжеты и идеи только скрепы для этого материала. Если бы все создания мысли Достоевского остались в черновиках, не воплотились в романы, они потеряли бы форму, но не ценность.

Поэзия есть искусство сосредоточенного невнимания. Почти банальностью будет сказать, что поэт не должен видеть ничего из того, что видят все, чтобы заметить нечто, никому не заметное. Поэзия – искусство извлечения великого – не обязательно из ничтожного, но из наличного (ведь повседневное – не обязательно ничтожное; повторение не умаляет величия). «Если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, – говорил Господь ветхозаветному пророку, – то будешь, как Мои уста». Таков и поэт. Если волшебство есть достижение цели путем напряжения воли и произнесения особых слов-заклинаний, то поэзия его непосредственная наследница. Особым состоянием духа и необыкновенными словами она делает золотым «сор жизни»⁸.

Платон говорил, что душа состоит из мудрой и яростной частей. То же самое можно сказать о поэзии. В ней обязательно должен быть ум и должна присутствовать ярость, то есть соединение любви и отчаяния, с которым бьются за свое дело те, кто в него верит.

Поэзия – средство приобщения к чужому вдохновению, хотя и неполное. Только в этом ее обаяние. Она дает каждому почувствовать хотя бы часть движения и огня, какие знает по-настоящему вдохновенная душа. Потребность в поэзии потому – потребность трансцендентная, метафизическая (как и подлинная, столь редкая в наше время, потребность любви). «Трансцендентно» ведь всё, что выводит душу за ее пределы. Поэзия рассказывает душе о том, что ждет ее за краем повседневного... Только великий народ, то есть не вмещающийся в исторической действительности, может любить поэзию. Только та нация в ней не нуждается, которая может вполне вместить себя в наличное существование; которой не тесно под солнцем и луной; поэзия, как и религия, выражает те стремления, которым не хватает места в *исторической* вечности. Пристрастие к поэзии – мера одушевленности и религиозной способности; вовсе не случайно Библия дает высшие образцы поэзии. Поэтическая жажда, как и религиозная, усиливается по мере осознания невозможности ее утоления, и ведет душу в ту область, где все ее знания о возможном и невозможном бесполезны; где только те истины годны, что добываются не из источников разума или восторга (т. к. восторг, как отмечалось еще Пушкиным, не источник вдохновения; вдохновение неразумно, но притом и не восторженно)...

Истинная поэзия должна быть безжалостна: чувственна и одновременно жестока; неразбавленная сладость вредит ей. Лучшая поэзия представляет собой только дуновение, как и всякое высокое движение души... Ни истина, ни справедливость, ни любовь не встречаются в мире в избытке, не в виде дуновения свыше; истинная поэзия им обязана следовать. И Ницше призывал говорить истину возвышенно и цинично...

Поэзия – соединение трудносоединимого. Когда страшно и грустно вместе – это поэзия (как мысль о смоле давних деревьев, которая стала янтарем); в страшном и грустном по отдельности нет ничего поэтического. Навсегда ушедшее, кстати, вечный источник поэзии; настоящее редко бывает поэтично, совсем редко – будущее... Вдохновляющие романтизм развалины и останки больше говорят воображению, чем уму. Действительность почти никогда не обращается к самому действенному и сильному *чувству невозможного*; человека же, как сына Божия, привлекает – почти исключительно – *не созданное и имеющее быть*, в том числе то, что может быть вызвано к жизни только воображением.

Мы идем по следу и видим везде отпечатки, но тот, кто их оставил, невидим. Искусство есть погоня за осязаемым образом невидимого, за выражением в словах того, что словами передано быть не может. Только то, что нельзя выразить словами, и составляет предмет литературы. Когда писатель говорит о «звездной ночи», он имеет в виду не светила, которые изучает астроном, но *звездный трепет и многоочитый ужас*, словом, «чувство звездного неба», о котором упоминает Набоков. Поэтому поэзия – острие стрелы, называемой литературой. Поэзия ничему не учит. Ее смысл в непосредственной передаче опыта жизни.

Две правды о мире живут бок о бок. Первая говорит: мир бессмыслен и неудачен. Вторая известна творящей или любящей душе: всё, с чем она ни столкнется, обретает смысл; упрек в бессмысленности бытия исходит только от ничтожества, которое не знает творчества или любви. Мир насыщен смыслом настолько, насколько мы его ищем. Истина требует усилий от познающего.

Области религиозного – вдохновение, творчество, страдание, любовь. У камня или дерева нет оснований быть религиозным, у человека их тоже не было, пока он просто бродил по лицу земли. Религия сопутствует труду и борьбе с обстоятельствами. Мистику, говорящему о постоянном непосредственном общении с Богом, не следует верить уже потому, что это общение дается ему даром.

Я верю в познание путем переживания. К мудрости через поэзию (искусство переживания) приходят не меньше, если не больше, чем другими путями. Предельный случай мудрости – единство души и мира, в котором места для мысли уже не останется, или всё будет одной цельной мыслью. В этом взгляде можно увидеть неуважение к рассудку, т. е. искусству рассуждать, но мысль в своих истоках смутна, текуча и не одета словами. Слова только доспехи мысли, но не ее тело; посредники при ее переходе от одного ума к другому. Тогда уж меня можно обвинить в неуважении к слову, т. е. к собственной личности, ведь личность писателя больше всего проявляется в его словах.

Творчество делает необыкновенные вещи из обыкновенных. У него обычно есть состав и основа. Сплошь новое, безосновное творчество было бы прежде всего *никому не понятно*, даже если предположить способного к нему гения. Искусство и мысль обречены на укорененность в существующем; они не могут переменить своих предметов, разве только переменятся сами предметы. Новым в искусстве может быть только отношение к содержанию, то есть внешность.

«Точным знанием» в философии называется убежденность, достигнутая путем рассуждений. Тому, кто отказывается от рассуждений, приходится порвать и с убежденностью. Человеку мысли в таком положении остаются только достоверности душевной жизни, в меру возможности их проверки. Его философия становится психологией, психология приближается к религии; и все вместе – хотя такой синтез до сих пор не достигнут – могут искать связей с физикой как наукой о тонких взаимодействиях внешнего мира. Это путь прочь от философии как науки, основанной на «искусстве рассуждать».

Глубокие мысли суть дети тоски. Условие познания мира – неспособность в нем что-либо изменить. Когда о человеке житейского опыта говорят: «Он всё познал», следует отвечать: «Он всё попробовал, но ничего не понял». Познание дается в руки только тому, кто спускается за ним в собственную душу; не тому, кто ради него вылезает из кожи и стремится к внешним вещам.

Только те слова имеют цену, которые находятся в противоречии с волей говорящего, или по меньшей мере для него неожиданны. Смысл творчества в извлечении ценностей *из ничего*. Произведение должно быть заранее неизвестно творцу, чтобы быть успешным.

О священных вещах нельзя говорить без запинки. Гладкая речь показывает равнодушие говорящего. Совесть и добродетель нельзя делать предметами литературных упражнений...

Между священными словами и прочими частями предложения должно быть достаточно воздуха, чтобы читающий мог запнуться и задуматься. Высокая речь должна быть косноязычна.

Настоящие, выстраданные, страстные заблуждения бывают полезнее благодушно повторяемых истин. Хорошо высказанное заблуждение ищет себе опровержения, то есть в конечном счете увеличивает количество истины; а вот «истина, повторенная без убеждения, – ложь». Следует поощрять ум и в его заблуждениях, до тех пор, пока он их проповедует миром. Истины, чтобы жить, нуждаются в отрицании; оно не самостоятельная ценность, но только почва, в которой вырастают новые и укореняются старые истины.

Тот стремится проповедовать, кто разошелся во взглядах с большинством и не вынес одиночества. Проповедовать можно дурное совершенно так же, как хорошее: неразделенное мнение жжется независимо от своей природы. Психологическая основа проповеди в неспособности той или иной личности к одиночеству.

Утверждающий способен остановиться на пути утверждения, если встретит внутренние противоречия в своей мысли, а вот отрицание непременно доходит до предела, до бессмыслицы. Один раз потеряв почву, на нее уже не встать. Отрицающий падает в вырытую им яму и не достигает дна до тех пор, пока не исчерпываются истины, которые можно еще отрицать. Таким образом, глубина возможного нигилизма определяется не только личной склонностью, но и наличным запасом истин. Дикарь не может быть нигилистом, как бедняк не может быть расточителем, – ему нечего отрицать.

Побуждения настоящего писателя достаточно безумны. Как может быть расценено желание работать для потомства, обращаться к детям детей современного поколения? Эти побуждения можно носить в груди, но невозможно высказывать. Но какой же *настоящий* писатель не обращается к будущему? Скажу больше: даже *личностью* можно быть ровно настолько, насколько это неизвестно другим. Большинство враждебно личному своеобразию во всех проявлениях.

Мысль, высказанная с достаточной силой и страстью, начинает самостоятельно жить во времени, хотя бы ее первоначальный смысл истлел и погас. Мы никогда не узнаем исходного значения многих, если не большинства важнейших идей человечества. Будем же ценить писателя не за тот или иной смысл его речей, но за способность придать им силу существования в вечности.

Для писателя, к сожалению, нет читательских мнений. Один раз поверив хорошему, рано или поздно научишься верить и плохому. Откровенное осуждение полезней, так как не позволяет расслабиться. Враг *всегда* понимает нас верно, хотя и односторонне; друг может заблуждаться, причем в самом важном. Если уж там необходимо писателю зеркало, пусть это будет зеркало осуждения.

Говорить можно либо о себе, либо о других. Для первого необходим обширный личный опыт; для второго – способность признать собственный личный опыт ничтожным. Чтобы мерить мир меркой собственной личности, – пусть мне простится эта игра словами, – нужно быть скроенным не на общую мерку. Личность вполне обыкновенная может только доверять свидетельствам тех, кто был лишен обыкновенности. Когда Смердяков говорил: «Это всё-с про неправду писано», он выражал мнение того самого *обыкновенного человека*, которого заставляют судить о необыкновенном; ведь предмет искусства, т. е. Правда, – всегда необыкновенное.

Только тот, кто не желает плыть по течению жизни, имеет роскошь, называемую *судьбой*. Если это писатель, ему неизменно будет о чем писать: жизнь даст ему неразрешимые вопросы. А о чем же еще писателю просить?

На дне всякого обращения к человечеству лежит поучение, даже если говоривший не думал никого поучать. К речи прибегают либо для того, чтобы поучиться, либо для того, чтобы научить. Мандельштам справедливо поставил рядом речь и учение в стихах о звериной душе: «*Ничего не нужно говорить, Ничему не следует учить. И печальна так, и хороша Темная звериная душа...*» Однако я всё же буду настаивать на том, что всякий, чьи речи оказываются по-настоящему назидательны, в первую очередь назидает сам себя. Только тот, в ком преобладает желание учиться, способен чему-нибудь научить.

Глубокие мысли производятся борьбой с глубоким, подавляющим отчаянием. Блеск этих мыслей может восхищать посторонних, но они не знают назначения этого блеска. Когда плоды внутренней борьбы износятся на свет, в них видят и остроту, и игру ума, но не знают того, что эти блестящие и острые мысли были только оружием, выкованным для защиты ума от давящей внутренней тьмы. Ум гения вообще, вероятно, не так светел, как принято думать. Там не бесконечный свет, но жажда бесконечного света; не вечный день, но протяженная творческая ночь. День – не время творения; день сам по себе есть уже нечто сотворенное, торжество и успех некоторого предшествующего замысла, итог движения и борьбы; время подлинного творения – ночь, и Библия говорит нам (а мы не обращаем внимания), что мир был сотворен *ночью*, и только потом стал свет... Самые светлые мысли, из тех, что озаряют жизнь человечества, были вынесены из внутренней темноты, в которой Бог подталкивает человека и принуждает его сделать шаг, несмотря на то, что пути не видно. Так приходят на свет истины: ощупью, по темным тропинкам, над темными водами... Кто осветил путь человечеству, тот сам немало времени провел во тьме.

Вера делает жизнь неразрешимой загадкой, бросает на пути ключи смысла, но прячет двери, которым подходят эти ключи. Чем менее милостива к нам жизнь, тем больше она искушает нас чувством близкой разгадки, тем чувством, которое делает возможной поэзию, то есть понимание без познания, непосредственное вчувствование в правду и красоту вещей... Не всё в душе свет, даже в душе, освещенной верой. Бог есть Бог сокровенный. Он ищет человека, когда тот в сомнении и печали. Бог встречает человека в темноте и требует от него, чтобы тот шел, всё шел не останавливаясь, хотя бы человек и желал только покоя... И есть скромность у Бога: Он никогда не говорит от Собственного имени; те, кто рассказывают о каждодневных с Ним разговорах, ищут славы больше, чем истины; я же утверждаю, что Бог молча встречает человека в темноте и так же молча направляет его на путь – вернее сказать, принуждает выбрать свой путь, – хотя человек бы и рад избежать такого выбора. Нет, вера не состоит в беседах с Богом; я сказал бы, что Бог немногословен. Глубокие мысли производятся борьбой с глубоким, подавляющим отчаянием.

Всё недоступное прекрасно, всё прекрасное недоступно. Жизнь выходит из непостижимых основ и стремится к неприступным целям. Пока мы в этой жизни, нам доступны не начала, но представления о началах; не концы, но только пределы стремлений, дальше которых нельзя зайти... Всё загадка и темнота, и в том же время в себе самих мы чувствуем свет и ключ к мировой темноте и загадке. Так становятся поэтами и философами: от двойственного чувства внутреннего света и окружающей темноты.

Говорить о русском человеке или о человеке вообще можно только с мыслью о самом себе; в отсутствие самопознания суждения о человеке беспочвенны. Я могу говорить о «человеческом» лишь в ту меру, в какой знаю это человеческое в себе. «Наблюдение людей», вопреки расхожему мнению, не помогает познанию человека, потому что душа не наблюдаема и известна только *внутреннему человеку*, который, по апостолу Павлу, всех судит, а его самого никто судить не может.

Мы пишем и говорим, безусловно, для себя. Если нас окружает культура – как среда, в которой могут обитать мысли, – то наши слова могут передаваться другим, и иногда бывают поняты. Но этой благоприятной среды могло бы и не быть, я думаю даже – ее уже нет; слово не обесценивается этим. Как внутренняя человеческая способность, речь остается всегда с человеком и продолжает его отличать от зверей – даже и на безлюдном острове. Мысль ныне попала на такой остров, и ей остается либо умолкнуть, либо признать свою ценность достаточно большой даже и в отсутствие способных оценщиков, вообще без оценщиков, на полном безлюдье... и продолжать свой как бы бесполезный труд.

Трезвая самооценка в глазах общества может быть трудноотличима от безудержного бахвальства. Непризнанным писателям, скажем, это должно быть известно: у них есть (или бывают) такие основания для мнений о себе, которых общество не имеет. С точки зрения большинства их притязания смешны, ведь большинству хорошо известно, что правота рождается от численного перевеса. Всякий одиночка, который сталкивается с неблагоприятным обществом, знает обратное: прав испытывающий судьбу, а не те, кого судьба уже испытала и признала негодными.

Общество, в котором пишутся поэмы, гораздо лучше обеспечено от нравственного упадка, чем то, в котором поэмы не пишутся. Внешне бесполезные занятия говорят о душевном благополучии. Написание поэм – одно из безусловно бесполезных занятий, так как хотя и предполагает будущего читателя, но представляет собой долгий и одинокий труд, полезный исключительно для души поэта. Всякий одинокий труд благороден, потому что не ищет немедленной оценки.

Либо общество ищет правды – в этом случае оно может соглашаться или расходиться со своими писателями, венчать их или забрасывать камнями, – либо оно не нуждается в правде. Тогда писатель в нем будет лишним, как излишня в этом обществе правда. Общество не имеет силы прочно устроиться на других, кроме правды, основаниях, но у него достаточно сил, чтобы погубить или просто заставить молчать ненужных ему искателей правды.

Всякий проявляющийся в творчестве дар можно определить и как неспособность останавливаться там, где останавливаются все. Человек дара идет слишком далеко, за черту благоразумия, и именно поэтому находит то, чего не нашли другие.

Творчество есть свет, озаряющий душу изнутри. Трудность не в том, как его получить, так как этот внутренний свет дается даром, трудность в том, чтобы сохранить его. Внутренняя веселость, легкость, даже легкомыслие нужны для того, чтобы придавать значение не давящей действительности, но легким, почти призрачным созданиям своей души. Жить, просто *приняв в себя действительность*, невозможно. Напротив, нужно наполнить действительность своей душой. Положительное знание о мире есть всегда только знание о том, *чем вещи не являются*. Перечисляя отличия и признаки, оно не касается сущности – то есть смысла – предметов, поэтому единственный источник душевного богатства, творчества и всякого добра находится

не снаружи, но внутри человека. Знание о привычках вещей никого еще не обогатило, не обрadowало и тем более не сделало способным радовать других... Да оно еще и обманчиво, так как соблазняет исследователя почувствовать себя творцом, тогда как он только наблюдатель. Внешний мир, вообще говоря, случаен, он мог бы быть и иным, следовательно, нелепо к нему приспособляться и в нем искать утешения. Искусство жизни не в том, чтобы поставить в новое сочетание данные от века внешние вещи, – пусть этим занимается техника, – но в том, чтобы придать своей душе определенное положение относительно внешних вещей и сохранить его без смущения до конца.

В глазах общества всякий творец безумен, и хорошо ему, если он сумеет это безумие скрыть. Творец посвящает на самое святое предание: на успокоительную убежденность в том, что большинство всегда право, – ложь, которая только и обеспечивает уютное существование всякого множества. Победившей силе обязательно нужно найти вескую, независимую от нее самую причину своего торжества. Самооправдание есть занятие сильных. Слабость, неуверенность, болезнь ищут, как бы *уцелеть*, – силе нужно оправдать себя и завоеванное положение. Небогатая смелостью, она всегда удивляется бесстрашию бессильных. Так один тиран ценил непокорных ему поэтов.

Искренность не заменяет дарования. Дарование, больше того, умеет быть холодным, то есть как бы неискренним. Способность быть холодным, говоря об огненных предметах, можно считать признаком настоящего дара. Дар умеет отделять переживание от изъяснения; первое требует внутренней теплоты, второе – спокойствия и ясности. Пушкин отделял вдохновение от восторга; Ходасевич, последний из больших русских поэтов, даже предлагал отказаться от имени: «вдохновение», по всегдашнему смешению этого состояния с восторгом... И всё же вдохновение есть. Смешение вдохновения с теплотой чувств – опасность молодости. Юноше следовало бы заниматься *жизнью*, а не искусством, потому что последнее нуждается в мудрости. Нужно сначала понять, что *жизнь, как ты мечтал о ней, не удалась*, а потом уже заниматься искусством.

Жизнь имеет оправдание настолько, насколько она занята творчеством. Опыт, страсти и наслаждения ценны не сами по себе, но только как почва, из которой растет творческий труд. Мир дивен, можно им наслаждаться, но не добавить к огромному Творению свою долю – значит даром есть хлеб. Если – я повторяю: если! – наша жизнь не напрасна... А я всё же верю, несмотря на все видимости, что она не напрасна.

«Испепеляющая жизнь, – говорил Ходасевич, – более всего ценится в поэте». Сколь много *душевредных истин* поэт встречает только потому, что недостаточно осторожен; при большей любви к себе он был бы добродетельнее и невежественнее. Но истина жжется, истина вредна для души и в руки спокойным, рассудительным и добродетельным не дается. Чтобы узнать о человеке чуть больше, нужно отдать или спокойствие, или доброе имя, или спокойствие и доброе имя вместе. «Неужели многие и великие грехи влекут ввысь? – Совсем напротив».

Одиннадцатая заповедь поэта говорит: всякое удовлетворение, находимое помимо творчества, безнравственно. Будь чем хочешь, делай, что хочешь, но твори. Малодушие поэта (под которым я, как всегда, имею в виду человека творчества вообще) и состоит в том, что он берет первую часть этого правила: «делай, что хочешь...» без второй: «...но твори». В этом сущность не только творческой, но и всякой иной свободы. Никто не выше нравственности, но всякий

за свою свободу должен платить, платить – и поэт за нее платит творчеством, в огненной печи которого он сжигает свою душу.

Самые личные переживания и есть самые общечеловеческие. Очищенные от всего случайного, обычно и называемого «личным», они говорят о душе, а не о житейской пыли, в которую эта душа погружена. Живописцем таких переживаний был Достоевский, которого, однако, не принимают люди, требующие от литературы «картин». Ничего «картинного» в описании душевной жизни нет, но красота – красота пламени, с которым только и можно сравнить внутреннюю жизнь духа, – в них присутствует. Душа подобна именно пламени; Ходасевич верно сказал о ней: «Живу, а душа под спудом, каким-то пламенным чудом, живет помимо меня».

Важнейшее место в духовной жизни человечества занимает поэзия, как знание о том, чего знать нельзя. Перед поэзией должны склониться умения и науки, потому что устранить из бытия смерть никакая наука не может, а поэзия и смерть, и тревогу, и опасности объясняет, им придает смысл и лишает их жала. Наука не входит в число жизненных человеческих потребностей, а поэзия входит. Наука роскошь, а поэзия хлеб, потому что ни сражаться, ни трудиться, ни любить, ни умирать без поэзии, *то есть без правды*, – нельзя, а без науки – можно. Может быть, настанет день, когда наука победит правду. Тогда жизнь человечества будет объяснена до конца – и лишена смысла, так как смысл жизни выше всей совокупности ее механических причин.

Не содержится ли внутри жажды творчества – стремления к власти? Не трудится ли творец ради власти над своим творением? Несомненно, послушность материала под руками творящего служит поощрением для этих рук. Сладко вообще налагать свою волю на вещи; в этом смысле никакое человеческое дело не обходится без «воли к власти»... И в то же время, творчество – не только дело воли и власти, но и дело *отцовства и снисхождения*. Всему творимому творящий – отец, к нему он снисходит с любовью и желанием увидеть свое подобие... Творчество во всех его проявлениях есть поиск и созидание зеркала, в котором бы отразился творящий, но зеркала живого. Смысл творчества можно определить как постепенное *одушевление мира*, начиная с самого акта творения; человек тоже ищет, кому передать свою душу, и передает ее камню, и книге, и собаке, насколько он хочет и может творить.

Мало высказать правду, нужно еще и высказать ее сильно и ясно, чтобы каждое слово не только *было*, но и *звучало* правдой. Темно выраженная правда, косноязычная правда – бессмыслица, сочетание несочетаемых понятий. Что истинно, то хорошо сказано; запинаясь только ложь. Однако есть и обратное движение: ложь также стремится если не к ясности (это для нее недоступно) и не к красоте (и здесь мировой порядок беспощаден), то к величию. Величественная ложь имеет большее действие на умы и начинает нравиться самой себе – ложь очень щепетильна и прежде всего хочет нравиться, здесь ее большое отличие от житейски неопытной правды, которой в общем-то безразлично, что о ней подумают.

Чтение – самый распространенный способ общения с духами; ведь большинство писателей находятся уже *за краем мира*, так что литература представляет собой самое обширное завещание. Всякий читатель – немного чародей, немного заклинатель умерших. Чтение принадлежит к разряду обиходных чудес.

Писатель мог бы сказать читателю о своих книгах: – Основные идеи? Вычитите их. Философия? Пропустите ее. Оставьте только непосредственное отношение души к миру, не оформленное словами, или хотя бы попытайтесь найти его среди слов. Автор воспринимал мир неко-

торым особенным образом; бытие для него имело определенный вкус и цвет; ради этого и пишутся книги, это в них и ищите. Помните, как говорил Розанов: «Кто писатель? У кого в душе всю жизнь звучит музыка». Мироздание было любовью и музыкой моей души, – может сказать писатель, – и насколько мог, я передавал эту музыку словами. Все слова, впрочем, слабы для того, чтобы высказать ощущение живой нити, протянутой между миром и душой, натяжение и колебания которой мы и называем творчеством.

Книги суть пройденные и оставленные пути их создателей. Писатель всегда находится по ту сторону последней страницы; любая книга – только цепочка следов, ведущих к автору, но не сам автор. Читатель же хочет видеть в книге автора и ленится ходить по следам. Книга не автор, но только пустая комната, оставленное жилище души, еще более вторичное, чем тело. Писателя нет здесь, он ушел дальше.

Способность к творчеству и способность к умственному труду – две разные вещи. Всё годное и долговечное и правдивое в мире создается творчеством; умственный труд занимает в жизни подчиненное, служебное место: он не ставит задачи, но только разрабатывает уже поставленные. При этом ум завидует творчеству и всячески подделывает плоды своей трудной работы, добиваясь их сходства с легкими и своевольными произведениями творчества. Известная, если не преобладающая, часть философии состоит как раз из плодов натужных размышлений, имевших в основе всё, что угодно, кроме вдохновения. *Ученый* – тип человека умственного труда в чистом виде: он трудится над фактами, но не создает фактов, тогда как творчество на каждом шагу создает новые факты человеческого существования, и постепенно из совокупности этих фактов складывает культуру. Творчество выкладывает камни в стену – ум разнимает стену на части и изучает отдельные камни; он оказывается удивительно беспомощным, когда сам берется за непривычное дело строительства, даже если предварительно избавится от соперников, как Платон, который не прежде принял за идеальное государство, как удалив из него поэтов.

Книги создаются из материала неутоленных желаний. Если бы всякое движение души находило себе законченное и полное воплощение, мир был бы иным и, кроме прочего, в нем было бы гораздо меньше произведений искусства, которые – по большей части – питаются неутоленными стремлениями. В чем разница искусства и науки? Искусство говорит о том, чего *жаждет* человеческая душа; наука – о том, что она находит в мире и чем обладает. Истина, на мой взгляд, находится в области душевной жажды: чего нам наиболее остро не хватает в мире, то и правда; то же, чем мы обладаем, – *только факты*, у которых нет никакого нравственного значения.

С другой стороны, всё это можно рассматривать как самоутешения человека, обиженного Богом. Чтобы не мучиться постоянной язвящей болью, такой человек воздвигает алтарь недоступным для него ценностям – жизни в обществе, одиночеству, любви – и возвышает свою боль до религиозного преклонения, и в этом преклонении его страдания делаются терпимее, очищаются, становятся не только ужасными, но и *прекрасными*. . . «За что Бог меня мучает, – говорит такой человек, – это мне неизвестно; но я почитаю Его волю и ищу в ней смысл и оправдание своих мучений».

Такое отношение к вещам кажется нашей эпохе безумным, но только оно позволяет сохранить душевное равновесие перед лицом постоянно враждебной жизни.

Нищие свирепо нападают на христианство, но иногда забывает придать лицу свирепое выражение, тогда становится видно, что борьба этого мыслителя была прежде всего с самим собой, не против Бога. Его принято считать поджигателем храмов, но, в сущности, он учил об

одном: что всё, что делается *с Богом*, то есть со всей полнотой духа, будет *добро зело*, что бы ни говорила по этому поводу дряблая мораль. В Ницше увидели проповедника безнравственности и врага религии, тогда как он проповедовал внутреннюю духовную полноту, к которой только и стремится любая религия.

Ницше должен быть оправдан и осужден одновременно. Так бывает со многими еретиками. Их учения нужно осудить, чтобы их мнения оправдались. Учение, «система» есть вообще самое слабое звено умственного творчества. *Системы имеют обыкновение оказываться ложными*. Мыслям становится тесно в созданном для них учении, умственная постройка рушится, а мысли спасаются из-под обломков, чтобы перейти материалом в следующую постройку: таково отношение мыслей и учений.

Ницше много доброго сказал о силе и сильных, но он не заметил одного: сильный может прожить и без правды, сильный в правде не нуждается, тогда как слабый укрепляется и подпирается одной правдой и без нее жив не будет. Сила дает человеку *независимую от нравственности (то есть от правды) опору*; и еще хуже, что свою силу он склонен считать *своей правдой*. Положение сильных весьма небезопасно, не потому, что им «высоко падать», а потому, что они строят на шатком основании собственной силы.

Можно сказать, что под «силой» ее проповедники подразумевают *дерзновение*, нежелание мириться с мнениями, то есть предрассудками, большинства. Дерзновение – уже понятие духовной жизни; оно либо имеет нравственные, духовные корни, либо является простой наглостью, о которой и говорить не стоит... Однако дерзновение – качество бойца; оно всегда на стороне всё тех же *слабых и восстающих*; к чему дерзновение тому, кто уже господствует? Получается, что понимание «силы» как дерзновения возвращает Ницше к осуждаемой им на словах христианской морали слабых. Сильный угнетает, слабый дерзает. И Ницше был среди слабых...

Постепенное культурное развитие, при котором детям непонятны вкусы отцов, естественно; но только до тех пор, пока дети *остаются на почве культуры*. Если же каждое следующее поколение всё более тонет в море случайных мыслей и настроений, его вкусы перестают быть культурным явлением, становясь всё более *нравами и обычаями дикарей*. Культурные явления могут насмерть враждовать между собой, но при этом они не случайны. *Сила в области культуры есть мера значения*. Можно противопоставлять Льва Толстого – Достоевскому, но не потому, что один из них «нравится» судящему больше, чем другой. Вера в творящую силу потребления, то есть в конечном счете в *достоинство судящего невежества*, которое всё оценивает, ничего не зная, – господствующее заблуждение демократических эпох – еще хуже для культуры, чем прямая тирания, поскольку тирания, как власть немногих, вызывает естественное противодействие, которого *всенародное невежество*, голос которого полагают голосом большинства, то есть истиной, не встречает. Но правда не то же, что мнение большинства голосов, и история человечества как нельзя лучше подтверждает это. «This was sometime a paradox, but now the time gives it proof»⁹.

– Мне нравится этот автор.

– Это значит, что вы недостаточно в него вчитались. В области важнейших душевных вопросов (такова область подлинно философского) не может быть вкуса, которому нравятся или не нравятся предлагаемые ответы. Ответы в философии имеют характер *истин*, причем *личных истин*, т. е. таких, которые даются путем личного опыта и вне его пределов часто бывают неясны и труднодоказуемы.

– Но что делать, если мне в самом деле нравится этот писатель; более того – я с ним вполне согласен?

– Тем хуже. Когда речь идет о жизни души, ничто не может быть принято на веру. Можно согласиться с *истолкованием* некоторого опыта, и только, но для этого необходим свой собственный опыт в той же области. «Никогда и ни с чем не соглашаться, но всё испытывать» – может быть правилом не только для философа, но и для его читателя.

Мысль о том, что может быть *две правды*, для ума непереносима. Он предпочитает остаться совсем без правды, чем с двумя равными истинами. Познающий небеспристрастен: он ищет правду, которой можно было бы поклониться, и от свободного выбора между предметами поклонения, даже просто между разными объяснениями природы вещей – бежит. Привязанности либо исключительны, либо не существуют; любовь к истине, не смотря на свой будто бы исключительно умственный характер, тоже одна из привязанностей; она ищет не просто своего предмета, но *единственного* предмета.

Самоутешение может быть частью философии, уступкой слабости мыслителя, но не главным ее содержанием. Философия занимается не «должным», но существующим. Ее задача в поиске тонких закономерностей бытия, не в наказании грешных и утешении обиженных. Философ не имеет права *придумывать*, он может только видеть и толковать увиденное. Я полагаю даже, что утешение – задача воспитания, а не умственного труда в каком-либо виде; религия не составляет исключения. Когда Христос говорил: «блаженны плачущие», он имел в виду внутреннюю достоверность, психологический и религиозный факт, а не «утешение обиженных». «Утешать» значит «лгать». Христос приходил не для лжи и утешениями, вопреки распространенному взгляду, не занимался.

Говорить – малоценное искусство, прекрасное только тем, что знакомит нас с искусством жить и испытывать счастье. Подозревает ли писатель, выходя на свою дорогу, что достигнет однажды состояния, когда хорошее о себе перестает радовать, а в плохое не верится, потому что знаешь о себе гораздо больше хорошего и дурного, чем кто-либо посторонний? Вес одобрения, вообще ценность стороннего мнения страшно преувеличивается людьми, которые берутся судить об этом вопросе. «Вы написали хорошую книгу», говорят писателю. Но он знал об этом в те самые минуты, когда писал ее; что он может услышать нового? «Неотвратимые внутренние вопросы», о которых говорил Гоголь, не отменяются ничьим одобрением. Есть, однако, еще счастье признания; но тому, кто давно уже *признал себя*, оно бесполезно. Тому, кто занят бесконечным разговором со своей душой, все остальные разговоры кажутся ничтожными.

– Что есть философия?

– Философия – область невозможного и неповторимого, того, что случается однажды и воспроизведению не поддается. Происхождение мира и жизнь духа подлежат только философскому изучению; в них нет пищи для науки. Ни гений, ни мироздание не поддаются научному исследованию, т. к. там, где нет повторения, науке не к чему приложить свои орудия, ее область – область повторения и опыта. «Научная философия», в которой потеряны лучшие черты как философии, так и науки, может стать только некоторым заменителем религии, то есть сводом догматов, существующих исключительно ради поддержания собственного существования; в ней возможны догматические споры, но не поиск истины.

Входящим в мир высших духовных ценностей следует говорить: «Остерегайтесь подделок!» Все высшие ценности поддаются подмене и замещению; даже так: в каждой следующей ступени духовного роста скрыта возможность падения и возврата. Патриотизм вырождается

в поклонение государственной мощи; религия становится исканием чуда; наука ради власти над природой отказывается от ее познания. Все эти виды порчи высших ценностей сводятся к подмене качественного превосходства количественным. Мощь, чудо и власть – разные имена одного и того же кумира. Главная борьба в области духа идет именно с этим кумиром; христианам он известен под именем дьявола.

Мыслитель – человек, который ходит над пропастью и рассказывает о том, что он увидел. Положение его восхитительно и опасно. За дальность взгляда он платит постоянным страхом падения. Если некто находит свои мысли в безопасных и общедоступных местах, он не мыслитель, но в лучшем случае ученик.

В мире безусловной веры возможна осанна, но не философия. Философия предполагает испытание мира мыслью; некоторое изначальное сомнение. Перед лицом Бога не философствуют, но верят, надеются и живут. Философия, как и псалмы Давида, есть плод некоторого затруднения; разрыва между фактами и их пониманием; философия, как отмечал Лев Шестов, посетила Иова не тогда, когда он узнал о своих первых бедах, но когда он был уже раздавлен непосредственным, личным несчастьем, отделившим его от человечества. Мыслитель непременно *отделён*; он не понял чего-то, и потому уединился, или уединился потому, что его не удовлетворило общераспространенное понимание. Так или иначе, но он уединился и из своего уединения судит и пересуживает вещи, к которым с некоторых пор пошатнулось его доверие, и для этого доверия он теперь ищет новое основание. Философ, однако, – тот, кто именно *усомнился*, а не отчаялся. Сомнение имеет тот же смысл, что и шаг, то есть перенос тяжести тела с одной точки опоры на другую. Сомневаются не только *в чем-то*, но непременно *ради чего-то*. На умственное развитие можно смотреть и как на последовательность сменяющих друг друга сомнений, разрываемых временами твердого убеждения. Если твердые мнения суть точки на прямой познания, то сомнения – соединяющие их отрезки. Взгляд на развитие как на череду сомнений избавляет от обожествления частных истин, преходящих твердых мнений; что толку в поклонении той или иной точке зрения, если она только ступень к следующему сомнению? – Так сказал бы парадоксалист, каким в определенной степени и должен быть мыслитель.

Приветствуется ум, «докапывающийся до самого корня вещей», но только в той степени, в какой он поверхностен. Такой ум бодро разрешает мировые вопросы – и принимает поздравления; он не знает, какие чудовища живут там, где корни вещей, и как изранены будут совесть и ум познающего, который осмелится спуститься к этим корням. По закону, указанному Христом, ищущий находит. Тот, кто ищет «простых и понятных истин», также их обретает; но к познанию сути вещей, настоятельно требующему самоотдачи и самосжигания, не приближается. Мыслить о корнях вещей значит не жалеть себя и своего спокойствия; чем дальше мы находимся от спокойствия, тем больше приближаемся к корням вещей.

Культура – произведения праздного, т. е. поднявшегося над заботами, человеческого ума, в которых он осознаёт свою связь с прошлым, и которые он оставляет для будущего. Всё создается для того, чтобы стать чьим-то прошлым; культура, как ни странно, есть *создание великого прошлого*; иначе дело обстоит только в стране без истории, где нет «вчера», но только вечное «сегодня», или же при конце времен. Культура длится, или ее нет; ее отличает от варварства именно протяженность.

Мудрость – умение по частям угадывать целое, по следам восстанавливать пробежавшую истину, коротко говоря – искусство познавать целое по его части. Там, где целое уже дано, нет места угадыванию, следовательно, и мудрости, там будет хорош и простец. В мудрости человек

нуждается, пока у него закрыты глаза; она ни к чему тем, кто видит ясно. К счастью для мудрецов, слишком многое в мире скрыто от взора, а потому поддается только угадыванию; даже написанное слово не столько сообщает, сколько скрывает мысли, и тем дает почву филологии, как «искусству медленного чтения» (Ницше).

Как делаются философами? Однажды душа начинает спрашивать, и счастливы те, с кем этого не случилось: они смогут прожить жизнь в безверии или вере, и в любом случае будут счастливы, но душа, которая научилась задавать вопросы, уже не будет спокойна. Однако философия – нечто большее, чем умение во всем сомневаться, в котором обычно видят признак сильного ума. Положительные суждения вызывают мысль о слабости судящего: по-настоящему легкий успех дается только отрицанием, и как можно более громким. Правда меньше занимает общество, чем новизна, поэтому ниспровергатели всегда имеют успех. Усомнившись, человек как бы поднимается над подвергнутой сомнению ценностью; этим и живет искуситель: он поднимает мнение человека о себе самом, поощряя его к суждениям о превосходящих его истинах. Смысл сего искушения в том, что истина и человек меняются местами: истина оказывается снизу, а человек – в новом качестве судьи и оценщика – сверху. Бестрепетно он осуждает старые истины и устанавливает новые, забывая о том, что *право называться истиной* всякое мнение приобретает только пройдя через страдания. Свежеиспеченные истины, полученные путем всеохватывающего сомнения, не имеют этого свойства: они не испытаны и не оправданы ничем, кроме прихоти судящего. Сомневаться, т. е. философствовать, необходимо, но за достигнутые путем сомнения истины нужно еще и страдать, иначе они пополнят только собрание человеческих заблуждений. Чувство *общей осмысленности*, которое нас иногда посещает, достаточно сильно для того, чтобы вызвать веру, но недостаточно ясно, чтобы дать ответ на все вопросы души. И этим путем также приходит на свет философия: когда есть достаточно острый слух, чтобы слышать слаженный хор мировых голосов, но недостаточно зрения, чтобы увидеть их источник. Корни философии в сумерках, до рассвета.

Понятия «мыслитель» и «философ», некогда однородные, разделились ныне почти до полной противоположности. Мыслителем был Христос; но кто же решится назвать Его философом? Мыслитель тот, кто ищет закона и объяснения *своей*, прежде всего своей жизни; философ играет безразличными понятиями, которые не грозят и не обещают его душе. Будущность философа никак не связана с будущностью его философии, ибо эта философия до того *безлична*, что и не может иметь никакого действия *на лица*; в лучшем случае ее можно изучить, но никак нельзя ей следовать, тогда как настоящей философии если и учатся, то затем, чтобы следовать ей.

По законам своего мышления ум строит здание философии, и в отдаленных покоях этого здания находит свои истины, которые, однако, – всего только *истины человеческого ума*. Здесь непримиримое противоречие философии. Истин следует искать выше или ниже плоскости нашего ума, но только не в нем самом. Здание философии может быть сколь угодно величественным, но в любом случае это только еще один дом, построенный человеком. Только добытое душой без помощи разума имеет ценность. Истины, от разума полученные, не спасают. Оттого-то и мечется душа в поисках опьянения, опасности и любви, – потому что только выйдя за пределы разума, можно найти такую правду, ради которой стоило бы жить. Кто не станет безумным, тот не узнает счастья. А поскольку стремиться можно только к желанному, только счастье может водить нас на наших путях. Выгода и рассудок – плохие учителя человека. Нужно, нужно быть безумными, чтобы достигать счастья или хотя бы мечты о счастье. Всё высшее человеческое, то есть божественное, достигается только через безумие или мечту.

Как ни странно, в области человеческого только духовное обладает оплодотворяющей способностью. Невозможно представить себе культурное развитие, которое бы двигалось исключительно материальными достижениями, оно с ними только существует рядом, да и то не всегда. Все материальные достижения таковы, что их нельзя передать по наследству; сила и богатство – ценности одного дня. Время силы и всяческого изобилия может быть скудно в духовном отношении; оно может гордиться своей плодovitостью, но останется бездетным, потому что *детей в духе*, о которых говорят Платон и апостол Павел, у него не будет.

Есть два рода мыслителей: одни вырабатывают свои определения, другие пользуются чужими. «Научность» в обычном понимании состоит в готовности пользоваться чужими словами; оттого-то собственное содержание «научного» труда, особенно в области знания о человеке, может быть ничтожно мало. Тому, кто пользуется чужими определениями, остается только разрабатывать тонкости уже готовых понятий: это хлебное дело, которым занимаются многие поколения. Но тот, кто копает так глубоко, что уже не находит готовых слов для описания своего опыта, – он становится либо отверженным, либо основателем собственного учения. Может быть, у него будут и ученики, занятые тонкостями учения, но только не исследованием и поиском *своего языка*. Общеприятный язык, общепринятый набор понятий облегчает общение, но крайне затрудняет выражение новой мысли; кто не сломает свою речь и не создаст ее заново, не скажет человечеству ничего нового.

Мудрость и поэзия обитают вместе и редко появляются по отдельности, и если одна из них дурно отзывается о другой, то это значит, что они просто находятся в ссоре, а речам ссорящихся друг о друге нельзя доверять – вражда всегда заставляет говорить о другом столько дурного, сколько мы в нем раньше видели доброго... Мир, правда, предпочитает принимать либо мудрость, либо поэзию поодиночке, а чаще всего гонит от себя обеих.

Что такое уединенный мыслитель? Это мыслитель, который занимается никому не нужными, но самыми важными вопросами, и ищет к ним никому не нужные, но самые важные ответы. Между ним и обществом – если бы только общество озаботилось его заметить – мог бы состояться такой разговор:

- Я вижу правду, и правда меня мучает.
- Чем же?
- Полным несоответствием мировой жизни этой правде.
- Так не кажется ли вам, что мир прав?
- Мне кажется, что мир безумен.
- И вы гордитесь положением единственного трезвого среди пьяных?
- Напротив, ужасаюсь. Тому, кто постоянно имеет дело со словом, не может не приходиться

в голову ужасная мысль: что вся его деятельность есть именно *слова и ничего кроме слов*. Мыслитель острее нуждается в поддержке со стороны читателя и своей судьбы, чтобы не увидеть в себе лицедея, вооруженного картонным мечом... Чтобы усиленно выступать в защиту определенных ценностей, нужно видеть перед собой хоть самое малое множество воодушевленных теми же ценностями, иначе мыслитель теряет свое законное место в обществе и занимает гордое и печальное место пророка, причем пророка, искушаемого постоянным сомнением не в проповедуемых им истинах, но *в себе*.

Мои, да в сущности и все настоящие книги суть попытки превращения неделимого целого душевной жизни в отдельные слова – не удивительно, что не всегда удачные. Можно даже заключить, что, когда мы имеем дело с блестящими, точными, законченными построениями в литературе, их источником была *не* душевная жизнь с ее нераздельностью, загадоч-

ностью и глубиной. Хорошо заметно, скажем, что Достоевский писал всю жизнь один-единственный роман, и назывался он *Душа Достоевского*; все же литературные заглавия и фабулы – только внешние. При любом отношении к ней, душа – неразрешимая загадка, и мы можем либо не замечать ее, притворяться, будто ее нет, либо пытаться выразить ее *всю*, без остатка, до конца. Но что такое душа, сказать невозможно. Легче всего отрицательное определение: то, что нам запрещает; что не соглашается; что отвращается от дурного; словом, невесомая сила сопротивления. Таков же был «демон» Сократа: он указывал на то, чего следует избежать. Душа совершенно точно знает, что ей не сродно, но никакого положительного знания о себе не имеет. О душе возможны только некоторые частные утверждения, основанные на нашем внутреннем опыте. Например, что «дионисическая» часть личности, с ее жадной веселостью и всяческой полноты и, не в последнюю очередь, половыми стремлениями – также проявление духовной природы человека. Это не жажда плоти, это дух, только в более темных, непросветленных своих движениях, в той своей части, которая не говорит, но только дышит и стремится. Животные лишены «дионисического»: веселье и полнота жизни для них ничего не значат, ведь в них душа выражает себя, а самовыражение животным не свойственно. Скажу так: душевное блаженство, та самая полнота жизни, дается чувством проходящего сквозь душу потока силы, внутреннего движения, выхода за свои пределы, короче говоря, *воплощением скрытого содержания души*, т. е. духа – безмянного, бесплотного, молчаливого и существующего, кроме редких мгновений, лишь в возможности. Это старая, в сущности, мысль: что дух потенциален, и смысл жизни состоит в его воплощении, переходе от возможности к бытию...

Мир расколот трещиной, всё двоится. Нет ничего до конца верного; всякое утверждение может стать отрицанием... Мы ходим среди сгустившихся теней, среди вещественного, плотного мира, за которым душа угадывает невидимую жизнь невещественных основ... Мы до конца погружены в *условное*, и в то же время полны тем, что наша душа признаёт безусловным. Вот безвыходное положение!

И я тоже, в качестве мыслителя, ищу трезвости и ясности, но я ищу их в дебрях и темноте действительного мира со всем его ужасом и величием, а не в выдуманном и простом мире умственных построений и догм – мире, укрыться в котором всегда тяготеет человеческая мысль. «*Qu'on ne nous reproche pas de manque de clairté!*»¹⁰, восклицал Паскаль. Но всё же мыслитель жаждет именно ясности, однако, как я уже говорил, через мир прошла трещина, и ясность имеет свойство обращаться в глухие потемки... Мы *ищем* ясности, но находим двусмысленные истины, находим множество взаимоисключающих истин... и ясность оказывается мечтой самонадеянного ума.

Я говорил уже, что поэт (если хотите, подберите любое другое слово) отличается от обыкновенного человека тем, что не останавливается там, где останавливается обыкновенный человек. Он ничего не делает вполноту – за это его называют «человеком страстей». Благосопитанность же требует останавливаться на полпути, чуть-чуть любить, немножко ненавидеть, слегка страдать... Кто следует этим правилам, тот исполняет свои обязанности перед обществом: он не бывает ни счастлив, ни несчастлив, но зато не делает ни счастливыми, ни несчастными *других*. Он *безопасен*, а что же еще требуется? Общество ищет безопасности, душа – счастья, но общество сильнее.

Писатель по определению дерзек. Он решился на то, чего другие боялись; он дерзнул говорить там, где принято молчать или плакать. Дерзость есть первое качество настоящего писателя. Он износит тайное из своей души, и – заметьте! – вовсе не обязательно это будут «сокровища» в обычном значении слова. Достоевский не побоялся вывести Свидригайлова и Ставрогина; эти тайности его души уж никак нельзя счесть «сокровищами» в общеприня-

том смысле; но от этого ценность их образов не убывает... Тут важно сказать правду, *верно свидетельствовать*, и к таким *верным свидетелям* наши нравственные оценки неприложимы. Духу, – позвольте мне эту резкость, – не стыдно признаться *ни в чем*. Где дух, там всё свято. Ничтожен Страхов, ябедничающий Толстому на дурную нравственность Достоевского. Я не оправдываю Достоевского, я просто хочу сказать, что оправдывать или осуждать его – не наше дело, наше дело – принимать его свидетельства. Что нас волнует больше – благообразие или *правда о человеке*? Если нам нужна правда, то гори оно синим пламенем, это благообразие! Доступные человеку истины добываются на человеческих же путях.

Человек дара может сказать: «Чувство избранности? Ха! Если так, то избранности для страданий. Мысль о своей необычности, о Даре совершенно не успокоительна, скорее тревожна; это в лучшем случае сладкая тревога... Дар – это нечто неизвестное за дверью твоей души; это ночь за занавеской; это ветер за деревьями; это загадочное ночное небо, скрытое за ясностью и простотой дневного... Дар – великое неизвестное, которое принимает участие во всех событиях твоей жизни. Это двойное дно души, в котором каждое слово будит эхо, и совершенно неожиданное эхо; это постоянно приоткрытая дверь в совсем другой мир. Иначе говоря, дар так близок безумию, как только возможно, но только при полной ясности ума и трезвости мысли. Это постоянная и насыщенная внутренняя жизнь, протекающая в мире, не имеющем протяженности, который для большинства просто не существует. Человек дара живет в двух мирах и порой не знает, какой из них действительно: видимый всем или не видимый никому... Чувство избранности, вы говорите? Ничего подобного».

«О первых и последних вопросах» начинает трактовать не всякий писатель, а тот, кому не удалось вложить свою душу в разрешение более простых повседневных задач, кто не нашел жизненного благополучия и утоптанного пути перед собой. Метафизические вопросы существуют прежде всего для несчастных. Счастье изгоняет метафизику. Можно смотреть на несчастье как на признак слабости, неспособности; но я думаю, что несчастье и способность быть несчастным – признаки глубины душевной жизни, так же, как неограниченная способность к «неограниченному счастью» – признак ограниченности кругозора. Творчество начинается если не от несчастья, но от противоречия между желаемым и действительным. Пока человек составляет одно целое со своей средой, ему нечего сказать, у него, собственно, нет ничего такого, что он мог бы считать исключительно своим, личным; его чувства суть чувства его среды... Но как только между желаемым и действительным появляется разрыв – рождается мысль, начинается творчество.

Для творчества – не для «успеха», а просто как условие – нужно умение быть *не вполне здесь*, известная отвлеченность. Если обычно внутренняя жизнь души только отражает движение к некоторым внешним целям, то у творца всё наоборот. Его внутренняя жизнь более вещественна, более плотна, чем жизнь вещей и событий вокруг него. Иначе – поглощенность миром; жизнь исключительно во внешнем, которая творчеству не благоприятствует. «Оказывать влияние» на вещи или людей – дело довольно-таки противоположное сути творчества как внутренней жизни души. Творчество означает стремление не к власти, но к внутренней ясности, т. е. правде, и если влияет на людей или вещи, так только опосредованно, впоследствии. *Деятельность* же, как противоположность творчеству, в первую очередь занята силой и успехом, направлена исключительно вовне; деятельность не стремится к просветлению своей внутренней жизни и редко его достигает. Что лучше? Что достойнее человека? Здесь нет ответов, но только одни вопросы. Ответа на них нет, по меньшей мере, одного и пригодного для всех.

Мы можем выразить то, чего не можем вместить – и только это, пожалуй, мы и можем с ним сделать. Искусство всецело основывается на душевной способности преодолевать ужас, давая ему выражение. Образы, которые нас терзали, пока не имели формы, – подобно страшным снам, – отпускают душу, как только для них найдутся слова. Разуму, вопреки известному представлению, важно не *понять*, а *выразить*. Наша способность выражения далеко превосходит нашу способность понимать...

Искусство есть то, что приводит душу в движение, иного определения я предложить не могу. Покой, состояние без мысли и волнения, искусству противоположен. Только не нужно смешивать весеннее волнение тела, которое так хорошо умеет вызывать «массовая культура», с трепетом души. Новейшее время вообще слишком преуспело в общении со стихией пола. Что здесь плохого? То, что обращается оно непосредственно к темной сердцевине половой жизни, минуя все высшие и очищенные ее формы, связанные с любовью. Душу учат испытывать томление и темное волнение и сладострастие *сразу*, не проводя ее искусительным и очищающим путем любви к другой личности, т. е. путем самопрезрения и самоотдачи и признания равной себе, если не большей, ценности *в другом*. Как мне уже довелось сказать, мы учимся окунаться в самые источники удовольствий, и упускаем то, что превышает удовольствие – неразрывно связанное со страданием *счастье*.

«Каково чувство того, кто всё постиг?» – «Немота. Неспособность сказать ни слова. В то самое мгновение, когда весь ряд мировых событий выстроится перед тобой как одно целое, со всеми связями, причинами и последствиями – почувствуешь великую немоту. Чем больше я понимаю, тем меньше у меня находится слов для моего знания. Чем проще понятие, тем большим числом слов оно может быть выражено, так что самые сложные вещи ускользают от выражения. “Я понимаю это” значит “я об этом молчу”. Либо я понимаю *всё* – и тогда не могу сказать *ничего*, либо я ничего не понимаю – и тогда могу сказать очень много. На весах мудрости постоянно перевешивает *чаша незнания*, вот почему наш слух так редко отдыхает. Отвратительное положение! Вся моя воля к познанию и вера в его возможность в конечном счете приводят меня к молчанию. Что же это за познание, которое в последнем итоге заставляет меня унижаться и молчать, в то время как хор *познавших немного* не умолкает ни на минуту! “Я понимаю всё, – может сказать душа, – поэтому, видите ли, не могу сказать ничего!” Какая насмешка над познанием, и как хорошо, что мгновения *всезнания* даются душе так редко!»

«Всё частно, – знает душа в такие мгновения, – и в то же время всё безусловно. Всё мгновенно, и в то же время всё вечно. Всё бессмысленно, и в то же время в каждой искорке бытия горит смысл. Полная подавленность и оставленность Божеством – только воспламеняет душу, двигая ее на поиски нового смысла. Вот истинное и непередаваемое словами ощущение жизни». Всё так, но что с этим делать и как жить с такой правдой о жизни? Каждая гора оказывается долиной, и в каждой долине скрыта гора, такова истина о душевной жизни, но что делать с этой истиной тому, кто не желает выпасть из общества и истории, требующих *частных, неполных*, но зато *определенных* оценок и стремлений? Век сей нуждается в определенности более, чем в истине, и тому, кто готов пожертвовать определенностью ради истины, предстоит много пострадать, так как время требует верности частной, ограниченно понятой истине, в ущерб полной, которая не терпит разделения на части и с трудом поддается может быть выражена словами... Что делать с правдой, которая в нас не вмещается?

...Истина заманивает человека на путь познания, обещая: «И тогда ты узнаешь...» «Я уверен, – отвечает ей человек, – что я не узнаю ничего такого, что будет противоречить разуму» «Ну вот, – разочарованно отвечает Истина, – а ты еще говорил, будто ищешь истину. Теперь

же оказывается, что ты ищешь только такую истину, которая не противоречит разуму, т. е. не подрывает твоей уверенности в себе».

Современность произведения зависит от количества внутреннего огня в нем, от того, насколько оно питается внутренними переживаниями творца. *Личное* значит *вечное*, или во всяком случае долговечное. Современны наши Герцен и Достоевский; современны Христос и Исаяя... Все они выражают не «свою эпоху», а себя самих; писатель, мыслитель – ни в коем случае не «выразитель своего времени», в этом случае придется приписать тому или иному времени какую-то особую даровитость, по меньшей мере объявить некоторые времена особенно благотворными для творчества, но это было бы против правды: наоборот (думаю, это не надо даже доказывать), времена Исаяи или Христа, Ницше или Достоевского не были как-то *особенно благоприятны* для творчества, и более того – были, скорее, особенно трудны для мыслящего человека. Если уж говорить о месте «эпохи» в том или ином творчестве – эпоха создает трудности, которые преодолевает мыслитель; дает пищу для огня, в котором горела его душа – а душевная жизнь, насколько она присутствует, всегда огонь. Потому-то философское, и любое другое творчество, совсем не «для вечности». Ничего подобного. Оно нуждается в своей эпохе и своем обществе; оно предназначено для нации, а шире – для человечества, для того отрезка культурной истории, в котором его слова и образы еще понятны, который единомыслен с творцом и не нуждается в объяснении неясностей и намеков. За пределами этого отрезка творчество – только предмет исследования. Указывать творцу на лежащую перед ним вечность – то же, что утешать Ромео тем, что он встретится с Джульеттой в могиле.

С другой стороны, это детское заблуждение, будто Пушкин – потому *Пушкин*, что его признали и прославили. Даже если бы он не просиял, он всё равно был бы тот же, и глубина его душевной жизни не переменилась. Юноши честолюбиво сравнивают себя с тем или иным из просиявших, забывая о том, что важно не внешнее сияние, но внутренний свет души. «Исполнен мыслями златыми, не понимаемый никем», прошел бы он своей дорогой, и никто бы его не заметил. И сколько так проходит? Блеск и сложность глубокой душевной жизни не обязательно бывают явлены человечеству. Современность не знает, что великий человек есть человек *высоко поднявшийся*, а не *высоко поднятый*, что величие несколько не зависит от общественного мнения и демократической подачи голосов...

Могут сказать: «Почему ты позволяешь миру ранить себя? Будь равнодушен и тверд, следуй своим путем...» Но в том-то и дело, что я не могу быть равнодушен. Всё, что я знаю, я знаю о том, с чем соприкоснулась моя душа, что было ей мило или больно. Ничего другого, кроме ласкового или ранящего для моей души, я не знаю. Душевные движения – единственная ценность личности. Кроме творчества и любви, жить не для чего. Вещи, никакие внешние вещи, цены не имеют, и приводить ради них свою душу в движение безумно. Это острое и захватывающее мироощущение имеет свою оборотную сторону: чувство того, что «всё, в сущности, ненужно». Воля к вещественным достижениям покидает высоко поднявшуюся душу, так что искомая нами *вся полнота жизни* есть, по существу, *внутри* нас. Мир манит нас и развлекает, и в то же время *в нем ничего нет*, кроме других душ, к общению с которыми можно стремиться, и Бога, объемлющего их всех.

Я понимаю гораздо более того, что я знаю. Знание всегда узко, более того – оно всегда есть познание частных, разделений; понимание же всеобщее, так широко, что слова не вмещают его. В каждое мгновение жизни я понимаю больше, чем знаю. Знания постепенно растут, но круг понимания расширяется неизмеримо быстрее, и точное знание – только точка в середине этого круга. «Свет знания» – только костер в темном поле, к краям которого, к границе света и тени, стремится подгоняемое недоумением и любопытством наше понимание...

Оно смутно, неосознанно, полно тумана и теней, но неизмеримо шире светлой точки нашего знания... Если бы путь логических заключений приводил к истине, то давно бы уже не было несчастных. Но раз это не так, мы вправе предположить, что логика и истина не состоят в родстве, а разум – не крайний судия правды.

Более того: Сократ был в корне, совершенно не прав. Знание истины, различение между должным и недолжным, ни на грош не обеспечивает спокойствия. Знание доброго и злого не только не делает душу неуязвимой, но, напротив, с него-то и начинаются обостренная чувствительность и открытость ранам. Напротив, только видя попираемую ногами истину и начинаешь беспокоиться. Неуязвимость была бы возможна при душевной неподвижности, слепой уверенности в однажды добытых выводах; но в жизни меньше всего поводов для уверенности. И потом, истина как раз требует деятельного к себе отношения. Истина как раз то, к чему направлены наши душевные силы, истина определяется через любовную к ней направленность наших чувств, она наша любовь и святыня, и «поиск истины, – говорила Диотима, – есть великая и опасная любовь». Конечно, это верно только для тех, кто ищет Истину-святыню, истину *морально ценную*, истину, оправдывающую все остальные, т. е. человеческую и божественную, *религиозную*, видя в религии связь божественного и человеческого начал. Для искателей *безразличных истин* эти рассуждения бессмысленны.

«Безделье? Невозможно. Наслаждение? Возможно, но с угрызениями совести пополам. Покой? Ненадолго, между приступами беспокойства». Думаю, это черты не отдельного человека, но творящей души. Наслаждаться, довольствоваться и покоиться можно только творчеством, т. е. внесением в мир новых сущностей, и только пока это творчество длится. Ницше знал это ощущение и объяснял его «волей к власти», но на мой взгляд это чувство гораздо более тонкое, скорее эротическое; чувство *сладостной самоотдачи*, приобщение к другому, *выход за пределы себя*. Кажется, вот верное слово: душа ищет выхода за собственные пределы и радуется, когда его находит, вернейшие же пути к такому выходу – творчество и любовь. Чего можно желать себе здесь, по эту сторону смерти? Всей возможной полноты жизни, но только без вреда для своей души. Вот правило, которое легко выразить и следовать которому трудно, для многих почти невозможно. Мы живем не для святости или еще какой-то внешней нам самим цели; мы живем для того, чтобы в каждое мгновение быть вполне собой; чтобы вложить себя во всё, к чему мы чувствуем в себе силы... и ни на йоту не повредить собственной душе. Вот широкие врата и узкий путь. Всё «добро зело», во что мы вложили *всю душу и всё сердце*. Зло в таком случае определяется как то, что души и сердца вложить нельзя; что не принимает души и сердца добровольно, чтобы тут же их отдать дарителю – как поступают все высшие вещи, – но высасывает их; человек по отношению к злему не даритель, но жертва. Безразличные же вещи те, в которые сердца вложить нельзя, но отнять сердце они также не могут. Добро, таким образом, есть полнота; зло – хищная сосущая пустота, скорлупа, жаждущая наполнения.

«Духовные ценности» в чистом виде значат страдание, страдание и еще раз страдание, итог неимоверного напряжения мысли, вынужденной перетолковать, переставить все известные ей понятия так, чтобы новый их порядок придал существованию вид осмысленности. Чтобы не сойти с ума или не потерять свою душу, нужно отвергнуть либо действительность, либо свой взгляд на действительность. Отвергающий действительность сохранит «идеалы», но уверится в бессмысленности мира; кто решится на разрушение и перетворение своего внутреннего строя понятий, может достичь большего – увидеть в действительности смысл. Тому, кто не может ни согласиться с ходом вещей, ни принять в нем участие, ни противостоять ему, остается только вложить себя вполне в какой-либо вид творчества. Мы не в силах воздействовать на вещи, но мы можем придать им тот или иной смысл и соотношение, упорядочить их заново и в море наступающей бессмыслицы создать островок смысла, каким в распадающемся

мире стала когда-то Нагорная проповедь. Наше создание не изменит равновесия исторических сил, но позволит нам прожить жизнь с незамутненным разумом, что не так уж и мало. Философия в таком случае оказывается средством сохранить рассудок.

Ницше хотел быть *последним истолкователем* мира, но ни одна йота из его истолкований не была принята. Или, скажем так, общество приняло некоторые из его исходных посылок («нет ничего истинного»), но без его выводов. Читая Ницше, видишь, что это слишком *духовный* писатель для нашего времени. Если он мечтал о придании жизни нового смысла, то современность готова успокоиться на идеале обеспеченного существования в бессмысленном мире. Ницше расшатывал опоры храма, рассчитывая на освободившемся месте выстроить новый. Храм разрушен, но его место пусто. Пала ненавистная Ницше мораль, но сменили ее побуждения стада – уже настоящего, не приукрашенного стада, с его заботами о пище и безопасности, словом, не того воображаемого «стада», которое, по Ницше, выработало в себе христианскую религию и христианскую нравственность... Дух же процветает только там, где ставит себе цели, враждебные или хотя бы чуждые собственному благополучию. Ницше (как и наши Герцен и Достоевский) вопиюще современен. То, что он предсказывал, совершилось: мозаика осмысленного мироздания рассыпалась; связи между вещами порваны; истина вырвалась из клетки человеческих представлений и снова летает в небе. «Так истины больше нет? – Ничего подобного. Истина свободна и снова ожидает, когда мы отправимся ее искать».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.